Фундаментальные исследования

От редакции

26 октября 2023 г. состоялась XX ежегодная конференция Института философии РАН с регионами России совместно с Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского «Проблемы российского самосознания: ленинизм–сталинизм в преобразовании общества, государства и человека. К 100-летиям кончины Ленина и начала правления Сталина». Публикуем фрагмент большого труда Н.А. Хренова и две статьи других авторов, на основе которых были сделаны доклады на конференции.

В.П. Макаренко

БЫЛ ЛИ СТАЛИН ПЛАМЕННЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ, ИЛИ «ТВОРЧЕСКИЙ ОТВЕТ» ВОЖДЯ В РАКУРСЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Н.А. Хренов
Государственный институт искусствознания МК РФ

Аннотация: *Данная публикация представляет фрагмент задуманного объемного и еще полностью не опубликованного исследования, посвященного судьбе России как особого типа цивилизации. Особенностью этого исследования является то, что российская цивилизация предстает в биографиях известных людей, деятельность которых оставила в истории значительный след. Это не только политики, но ученые и художники. В книге рассматриваются биографии Ф. Достоевского, М. Горького, А. Солженицына, И. Сталина, Л. Гумилева, А. Тарковского и других. В публикуемом фрагменте рукописи рассматривается деятельность Сталина. Особенность деятельности Сталина обычно связывается исключительно с историей революции, коллективизации, модернизации и т. д., т. е. рассматривается в границах отечественной политической истории и названных процессов. Внимание пишущих о Сталине всецело определяется русской революцией 1917 года как одним из самых значимых событий XX века и теми ее последствиями, что определяют построение нового общества и государства. Однако есть необходимость – и она возникает именно в первых десятилетиях XX1 века – попытаться понять деятельность вождя на уровне проблемы, обозначенной С. Хантингтоном в названии одной из своих книг, т. е. как «столкновение цивилизаций». Иначе говоря, деятельность вождя можно рассматривать не в контексте истории революции и истории советского государства с присущими им позитивными и негативными проявлениями, а в контексте истории как истории цивилизаций, т. е. в парадигме, заданной такими историками, как, например, А. Тойнби. Сделанные автором в данной*

DOI: 10.18522/2949-0707.2023.4.1289

статье выводы и заключения предприняты не для того, чтобы отвести от Сталина всю ту критику в его адрес, что имела место с эпохи оттепели и последующей оттепели – перестройки. Но это не перечеркивает значимости данного вождем творческого ответа на те Вызовы, что могли оказаться для российской цивилизации в тот период драматическими. Однако, давая в то время такой «творческий ответ», вождь вовсе не разрешал вопросы на всю оставшуюся жизнь. То время прошло, а Россия вновь сталкивается с Вызовами. Давать новые творческие ответы на них нужно уже нам самим и хотелось бы, чтобы они были верными.

Ключевые слова: *Иосиф Сталин, Лев Троцкий, Россия как цивилизация, столкновение цивилизаций, революция 1917 года, история революции и история цивилизации, Америка как империя, византинизм, термидор, творческий ответ на Вызов, А. Тойнби, мессианизм, проект модерна, вестернизация, европоцентризм, К. Леонтьев, Ф. Шеллинг, Н. Данилевский, Л. Гумилев, А. Солженицын, К. Симонов, Д. Робертс.*

1. Неразрешённые проблемы российской цивилизации: Сталин и Россия в первых десятилетиях XX века

Вклад того или иного политического лидера, в особенности того, кто смог достичь вершины власти и встать во главе государства, можно уяснить, лишь поставив его деятельность в зависимость от того, что А. Тойнби называет «творческим ответом» на Вызов истории. Но что называть «творческим ответом»? Тут действует принцип относительности. Смотря с какой точки зрения смотреть на деятельность политического лидера. Вот, скажем, когда Л. Троцкий пишет биографию Сталина, он исходит исключительно из того мировосприятия, которое характерно для большевизма. Но с этой точки зрения революция оценивалась исключительно прогрессивным и единственно значимым событием в истории XX века. Таким, каким для французов была Французская революция. Такое мировосприятие смогли выразить яркие личности – одаренные ораторы, трибуны, чьи речи во время митингов и демонстраций воздействовали на массы и мобилизовали их на устранение старой политической элиты и на уничтожение институтов изжившей себя власти.

С этой точки зрения Сталин, как его видит Л. Троцкий, несомненно, проигрывает. Его нельзя назвать великим оратором, как и одаренным литератором-пропагандистом идей большевизма. Входя в состав многих партийных организаций и комитетов по организации съездов, он, по сути, оказывался невидимым. Его едва замечали. Он ничем не выделялся. Если верить Л. Троцкому, то с точки зрения значимости идеалов русской революции 1917 года его реальная роль весьма незначительна. Разумеется, умаляя значение Сталина в годы революционного подъема, Л. Троцкий, соответственно, возвышает себя. Портрет Сталина, представленный его соратниками, – результат многочисленных личных наблюдений и изучения разнообразных источников. Тем не менее неизвестность и неполная проявленность личности Сталина на разных этапах революционной истории вовсе не подтверждает его ничтожество. Они лишь подтверждают то, чего не имел в виду Троцкий, а именно, восхождение Сталина в тот период, когда страна оказалась в тупике. Ничтожеством Сталин кажется лишь с точки зрения пламенного революционера, с точки зрения романтического этапа революции да, собственно, и самой революции.

В начале XXI века, оказавшись вновь в экстремальной ситуации, русский человек оказывается свободным от гипноза революции. Он совсем не склонен наделять ее романтическими коннотациями. Перед ним вновь и вновь возникает проблема выживания. И он эту проблему выживания уже не связывает исключительно с революцией. Более того, он даже

пытается вернуть многое из того, что оказалось в результате этой революции утраченным. Со временем приходит отрезвление, и революция оценивается так, как в свое время Французскую революцию оценивали Э. Берк и А. де Токвиль. Иначе говоря, она воспринимается уже не прогрессом, а регрессом. Спасать следует уже не романтический идеал революции и ауру революции, а саму жизнь. С точки зрения ценностей жизни не все в революции можно приветствовать, да и сама революция уже не вызывает столь восторженных оценок, как это имело место столетие назад.

Нет, не случайно мысль постоянно возвращается к Сталину. Несмотря на его чудовищные преступления, масса сохраняет о нем память. Сталин все еще жив. Сводится ли в данном случае дело лишь к тому, что в стране по-прежнему находятся люди, верные Сталину, которых обычно называют «сталинистами»? Может быть, мы все еще затрудняемся дать окончательные оценки деятельности Сталина? Может быть, в этой деятельности есть что-то такое, что до сих пор оказывается неразгаданным, неосознанным? Попробуем подойти к этой проблеме с точки зрения не Запада, а Востока. В связи с этим обратим внимание на ответ, данный одним из премьер-министров Китая Чжоу Эньлаем. Этот ответ был дан в 1972 году советнику по национальной безопасности при Никсоне Генри Киссинджеру. На вопрос, в чем, по его мнению, заключается значимость Великой Французской революции, Чжоу Эньлай отвечал: «Об этом еще рано судить» [Джонсон 2008: 91]. Вот и в случае с уходящими в прошлое событиями истории XX века можно было бы попытаться дать ответ в восточном духе. Но восприятие времени на Востоке связано с большими, а не краткими длительностями. Деятельность великих людей и следует рассматривать в больших длительностях. Попробуем именно так рассмотреть и деятельность Сталина. Что же, в конце концов, совершил Сталин, что его образ продолжает быть живым? Может быть, Россия сегодня снова находится в такой же ситуации, в какой она находилась, когда к власти пришел Сталин, когда провидению нужно было, чтобы к власти пришел лидер такого типа. Им мог быть кто-то другой, но им стал Сталин.

В дневнике З. Гиппиус – свидетельницы Февральской революции – есть замечательные страницы. Они читаются как летопись русской революции. Там есть любопытные наблюдения, касающиеся ситуации, возникшей в России после Февральской революции. В ситуации массовой анархии либеральная власть оказалась перед необходимостью диктатуры. На роль диктатора уже появились претенденты. Им могли быть Керенский, Савинков, Корнилов и т. д. Но либералы, на то они и либералы, по этому пути не пошли. Если бы они решились на диктатуру, они бы предали свои идеалы. На призыв «Да властвуйте же, наконец! Как президент – вы должны составлять подходящее министерство», Керенский отвечал: «Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет» [Гиппиус 1991: 154]. Неразрешимость этого вопроса в среде либералов обернулась приходом к власти более радикального крыла в политической жизни России, т. е. большевиков. Диктатор, не допущенный к власти в среде либералов, пришел вместе с победой более радикальной партии извне («Большевизм пришелся по нраву нашей темной, невежественной, развращенной рабством и войной, массе» [Гиппиус 1991: 329]. В конце концов, чтобы такая роль в политической драме народа была сыграна, нужен был лидер именно с таким характером. Но этого недостаточно. Нужна была также и соответствующая ситуация, определенная ментальность и исторические прецеденты. Вот разобраться в этом мы и обязаны.

2. Российская история XX века под углом зрения истории революции и истории цивилизации

К заключению о неизвестности Сталина не только в массовой, но и в партийной среде можно прийти, если исследовать массу документов, на основании которых можно восстановить реальный вклад Сталина в революционные изменения общества. Собственно, именно это и проделал Л. Троцкий. Конечно, этот реальный вклад следует отличать от того вклада, который ему приписан в более поздний период, когда он достигает вершины власти. Тогда мощная пропагандистская машина создает вымышленную биографию Сталина, не соответствующую реальной, а, вместе с тем, и виртуальную историю революции, которая на сознание людей воздействовала сильнее, нежели реальная история революции. Чтобы создать эту новую биографию, нужно было переосмыслить не только историю жизни Сталина, но историю революции и вообще историю, вплоть до уничтожения тех людей, подчас имеющих более значительные заслуги перед партией, революцией и страной, чем это имело место в случае со Сталиным. Тех, что были соратниками Сталина, участниками съездов, находились с ним в ссылках и т. д.

Чтобы верно осмыслить реальный вклад Сталина в создание и функционирование новой государственной системы, как и вообще в историю страны, необходимо исходить из документов, а не из той пропаганды, которую насаждала печать, литература, искусство, кино, историческая наука и т. д. Но когда мы говорим не только о роли Сталина в развертывании исторических процессов в XX веке, то нужно учитывать изменения в мировосприятии людей, которые касаются восприятия и оценки революции 1917 года. В сознании людей рубежа XX–XXI веков она кажется уже не такой легендарной и сакральной, а еще точнее хилиастической, как это имело место в сознании людей предыдущих поколений. В революции многое решает иррациональный порыв. К. Манхейм справедливо говорит о восприятии массой революции как внезапный переход в инобытие, где царствует блаженство. Это религиозное, а точнее хилиастическое чувство. Именно этот хилиазм одухотворяет революционные действия. Когда же это чувство угасает, когда, как пишет К. Манхейм, «хилиазм теряет свою интенсивность и порывает с революционным движением, в мире остается лишь неприкрытая ярость масс и неодухотворенное буйство» [Манхейм 1994: 184]. Это разрушительное буйство в ходе революции не ощущалось именно так. Зато последующие поколения именно это обстоятельство и склонны улавливать.

Необходимо осмыслить не только деятельность Сталина, но и саму революцию как частный вопрос в развертывании истории в больших длительностях. Эта история постоянно связана с возникновением и новых исторических вызовов, и новых творческих ответов с вытеснением старой элиты, не справляющейся с устранением исторических вызовов, и с появлением лидеров новой формации, пытающихся давать новые творческие ответы на вызовы истории, а эти ответы могут быть как удачными, так и неудачными. Сама же элита может быть или более либеральная, которую В. Парето, следуя Макиавелли, называет элитой лис или более жесткой, опирающейся на силу, а ее В. Парето называет элитой львов [Арон 1993: 100]. Очевидно, что либерализация России во второй половине XIX века стала основой распада жесткой императорской власти, что позднее приведет к революции и к появлению более жесткой элиты львов. Ее-то и выразит Сталин.

С этой точки зрения русская революция, как и революции в других странах в XIX веке, начиная еще с Французской революции конца XVIII века, предстают всего лишь частными явлениями в общей системе идей и свершающихся под воздействием этих идей процессов. Эта система идей возникла в эпоху, получившую в литературе обозначение как эпоха Просвещения. Следуя Ю. Хабермасу, мы будем называть ее эпохой модерна. Эта возникшая на

Западе система идей повлияла на реальные исторические процессы, на устранение традиционных политических систем, на разрушение старых и возникновение новых форм социума. Она возникла на Западе и именно там она и начала реализовываться. Но поскольку до определенного времени Запад оставлял за собой роль лидера в мировой истории и поскольку имела место вестернизация мира, то эта система идей начала распространяться по всему миру.

Поначалу мало кто отдавал отчет в том, что идея модерна в большей мере созвучна лишь западной ментальности, а, следовательно, она функционирует в интересах Запада, заинтересованного в том, чтобы транслируемая им система ценностей оказалась универсальной. Она не предполагала существование в мире оппозиционных и альтернативных культурных ориентаций. Именно с возникновением этой системы идей возникает весьма оптимистическое мировосприятие. Оно остается таким вплоть до первой мировой войны. А. Вебер, пытаясь описать те свершения, которые имели место к концу XIX века на Западе, и, в частности, развитие идей гуманности и свободы, пишет, что, тем не менее, несмотря на оптимизм по поводу настоящего и будущего, в благополучной Европе разразилась катастрофа. «Для нас, – пишет А. Вебер, – вопрос состоит в следующем: в какой степени и из-за чего этот во всех отношениях столь особенный век стал лоном сегодняшней идущей с Запада и из Европы охватывающей весь мир катастрофы? Какие силы определили это? Если это было переходом к превращению земли в новую планету, то почему этот процесс завершился, и как было возможно, чтобы он завершился ужасающей борьбой и страшными разрушениями, когда-либо происходившими на Земле, как стало возможным, что XIX век и почти все, что он, как считалось, достиг, лежит в руинах и вряд ли сможет когда-либо возродиться в своих позитивных сторонах?» [Вебер 1999: 433]. А ведь именно в границах этого мировосприятия модерна еще с XVIII века укрепилась вера в прогресс, в сближение народов, в то, что сегодня обозначается как глобализация. Хотя на уровне сознания Западом провозглашались идеи единства, тем не менее, это единство понималось как единство на основе ценностных ориентаций Запада, не допускающее активности альтернативных ориентаций. Сегодня во власти этого комплекса оказывается уже Америка.

Однако первая мировая, а затем и вторая мировая война, заметно поколебали веру в прогресс. Возникает новая система идей, в которой утопизм и оптимизм модерна угасают. В этом смысле, конечно, экзистенциалистская философия для XX века будет весьма показательной. В связи с новыми умонастроениями возникает и то новое отношение к революции, которое возникает на основе экзистенциалистских идей. Революцию мы уже оцениваем не только с точки зрения массы, образовавшейся в результате распада традиционных обществ, но с точки зрения личности и, соответственно, ее свободы. С этой точки зрения революция 1917 года перестает восприниматься значимым явлением. Наоборот, налицо ее реакционная сущность. Ведь тот кризис общества, который произошел в 20-е годы, т. е. после революции, не позволил осуществить многие из прогрессивных идей, провозглашаемых с трибун пламенными революционерами, фанатиками, великими идеалистами и утопистами, которыми предстают Ленин и Троцкий.

Революция явилась мощным средством освобождения от того, что Ф. Ницше называл ressentiment, т. е. освобождения от ущемления чувства человеческого достоинства, от накопившегося чувства мести и стремления восстановить справедливость. Их, находящихся под властью мщения и вызвавших к жизни мораль, Ф. Ницше называл «подвальными крысами, набитыми местью и ненавистью» [Ницше 1990: 433]. У Ф. Ницше впервые появляется это слово – ressentiment. Затем оно перекочевало в социологию. После того, как этому явлению М. Шелер посвятил целое исследование, к нему постоянно возвращаются. Так, Р. Мертон выделяет три признака этого слова. Первый признак связан со смутным чувством ненависти, зависти и вражды. Второй – с ощущением собственного бессилия активно выразить эти чув-

ства против лица или социального слоя, которые их возбуждают. И, наконец, – постоянно возвращающееся переживание этой немощной враждебности [Мертон 2006: 275]. Однако революция не исчерпывается ressentiment, поскольку это чувство не доходит до открытого мятежа, что, собственно, и является революцией. Если мятеж предполагает радикальные изменения в ценностях, то о ressentiment этого сказать нельзя.

Когда отшумел гул революции и масса изжила свой ressentiment, Россия вновь оказалась в ситуации кризиса, в какой она, собственно, и была до революции, когда распадалась империя. В связи с этим напрашивается вопрос, а не находится ли Россия в кризисе не столько даже империи, сколько цивилизации. Не случайно в России проявили такой интерес к трактату Шпенглера, ведь в нем как раз обсуждался вопрос о длительности каждой цивилизации и о финальных эпохах в ее истории. Правда, этот вопрос Шпенглер обсуждал применительно к Западу, а западная цивилизация, как полагал Шпенглер, как раз и исчерпала свою положенную длительность. Идеализация революции и превращение ее в единственно значимое событие, отныне определяющее ход истории, отвлекало от понимания кризиса, понимаемого уже не как кризис империи и даже не как кризис революции, а как кризис цивилизации, что гораздо серьезней. Но, естественно, что заимствуемая у Маркса терминология не позволяла осмыслить кризис на уровне цивилизации. Конечно, со Шпенглером был знаком и Ленин, но, естественно, что его мысль двигалась в ином направлении.

Пожалуй, проблема Сталина и отношение к нему в наши дни лежит в плоскости не нашего актуального и меняющего отношения к революции, а в плоскости нашей способности осознавать ту ситуацию, которую в XX веке переживает российская цивилизация. Однако судьба этой цивилизации находится в зависимости от жизнеспособности других цивилизаций. Проблема России предстает проблемой на той стадии мировой истории, когда возникает фаза, названная Шпенглером фазой цивилизации, т. е. финальная фаза. Естественно, что речь у Шпенглера идет о финальной фазе, прежде всего, западной цивилизации. Естественно, что если согласиться со Шпенглером, то новая ситуация, связанная с утратой лидерства Запада, приводит к свертыванию процессов вестернизации. Но это означает, что в новой ситуации Россия как цивилизация, ценностные ориентации которой в последние столетия определялись Западом, должна была снова задуматься о своей идентичности.

Впрочем, это становится постоянной темой активно ассимилирующей опыт других культур России. Так, например, Д. Мережковский, ставя вопрос о том, что идентичность русских творится их поэтами и писателями, писал, что хотя Пушкин во многом эту ментальность и определил, но более или менее окончательная ее форма все же связана с именами Л. Толстого и Ф. Достоевского. «Но, может быть, именно в том, что русский народ до сей поры не нашел еще лица своего, – пишет Д. Мережковский, – и заключается наша великая надежда, ибо не значит ли это, что мера его не в прошлом, не в Пушкине, даже не в Петре, а все еще в будущем, все еще в неведомом, в большем? Этого будущего, третьего и последнего окончательно «благообразного», окончательно русского и всемирного лица не должно ли искать именно здесь, между двумя величайшими современными русскими лицами – Л. Толстым и Достоевским?» [Мережковский 1995: 69].

Вместе с начавшимся угасанием западной цивилизации уходил в прошлое и отрезок российской истории, что связан с историей петербургской России. Об этом, в частности, свидетельствовал и распад российской империи в ходе начавшихся в XX веке революций. Империя, конечно, не цивилизация. Цивилизация существует в особых длительностях. В границах больших длительностей цивилизации формы политической, а, следовательно, и государственной власти могут меняться. Однако длительный период российская цивилизация функционировала лишь в формах империи. Это свидетельствовало о том, что для российской цивилизации наиболее оптимальной формой оказывается империя. Это объясняется тем, что

российская цивилизация объединяет в своем составе множество разных народов и конфессий. Собственно, само строение цивилизации здесь тоже предстает в имперской форме. Именно поэтому в истории осознается распад империи, но не типа цивилизации.

Однако распад империи в России не является нейтральным по отношению к типу цивилизации. Распад империи в России не может не затрагивать и цивилизационной основы. Все свидетельствует о том, что любое совершающееся в XX веке в границах политической истории событие необходимо рассматривать под цивилизационным углом зрения. Есть необходимость под этим углом зрения рассматривать и революцию, и, в частности, деятельность Сталина. Причем, если революцию часто связывают исключительно с распадом империи, то деятельность Сталина требует уже иных уровней рассмотрения. Не случайно она может показаться не революцией, а контрреволюцией, чему есть обозначение – термидор. Вот это самоопределение России в новых условиях стало следствием заката западной цивилизации и распада российской империи. Оно обязывает русских размышлять о будущих политических и цивилизационных трансформациях, уже не связанных исключительно с Западом.

Спрашивается, где в этой новой ситуации искать прецеденты? В будущем или в прошлом? На Востоке или на Западе? Так, например, Л. Гумилев, которого во второй половине прошлого столетия активно издавали и читали, недвусмысленно формулирует, что судьба России отныне связана с Востоком. Если Запад угасает, то в какой ситуации может оказаться Россия, ведь несколько столетий ее истории развертывается под воздействием Запада. Но, собственно, означает ли «закат» Европы ее «смерть»? Ведь «закат» цивилизации вовсе не означает ее полное исчезновение. Такой закат может существовать на протяжении столетий. Из некогда жизнеспособной цивилизации могут выделяться какие-то ее части и обретать самостоятельность, которая уже позволяет говорить о рождении новой цивилизации, о чем в XX веке свидетельствует восхождение отпочковывающейся от Запада и обретающей самостоятельность Америки. Так, Америка подхватывает у Запада цивилизационную эстафету и стремится перераспределить отношения между цивилизациями.

Но, что касается России, то отношение к ней со стороны как собственно западной, так и вышедшей из нее американской цивилизации не меняется. Столкновение цивилизаций продолжается. В этой ситуации Россия вынуждена или стремиться продолжать сближение с Западом, или же искать какие-то новые основы функционирования российской цивилизации как самостоятельной. Русская революция продемонстрировала отход России от Запада, хотя этот отход развертывался на основе заимствованной на Западе системы идей (модерна и марксизма как варианта модерна) и обращенной против Запада.

Однако возникающие после революции политические структуры оказались нежизнеспособными и вскоре привели к тупику. На повестке дня актуальными оказались и проблема выхода из внутреннего тупика, и проблема взаимоотношений с Западом, которые с появлением национал-социализма в Германии необычайно обострились. Столкновение с Западом казалось неотвратимым. Приближался второй акт первой мировой войны – вторая мировая война. В этой ситуации необходим был «творческий ответ», который бы не только смог разрешить внутренние проблемы, но и отстоять самостоятельность российской цивилизации. Сталин такой ответ дал с помощью реабилитации исторического опыта России, о чем свидетельствует данный им сигнал о реабилитации истории, на что отреагировало искусство.

Но был ли этот его «творческий ответ» конструктивным? Явился ли он выходом на все времена или он закономерен только для конкретного периода истории? Последующее развертывание истории свидетельствует: тот ответ, который был дан Сталиным, со временем все же предстал тупиком, привел к распаду. Сегодня в первых десятилетиях XXI века мы вновь оказываемся в той же ситуации, на которую на рубеже 20–30-х годов Сталин дал «творческий ответ». Значит, осмысление возникшей в XX веке ситуации лежит не только в плоскости политической

истории. Мы сегодня вспоминаем и не можем забыть Сталина не потому, что он велик и гениален, а потому что проблема, которую ему пришлось решать, для нас стала снова актуальной, снова к нам вернулась. Речь, следовательно, идет уже не только о судьбе империи, к которой попытался вернуться Сталин, а о судьбе цивилизации в целом. Возвращаясь сегодня снова к Сталину, мы обязаны рассмотреть его деятельность под цивилизационным углом зрения, т. е. в больших протяженностях истории.

3. Личность Сталина. Ressentiment будущего вождя получает идеологическое оправдание

Пытаясь воссоздать обстоятельства, благоприятствующие приходу Сталина к власти и возникновению ситуации в годы второй мировой войны, когда в экстремальной ситуации нужно было давать «творческий ответ», мы никак не можем обойтись без характеристики личности Сталина. В его личности было нечто такое, что в полной мере не могло проявиться на романтическом этапе революции. Это «нечто» проявилось в период, когда революция завела общество в тупик. Ему приходилось выводить страну из тупика. Он давал «творческий ответ». Но был ли этот «творческий ответ» верным?

Личность Сталина явно нуждается в психоаналитическом истолковании. Не случайно такая попытка истолковать личность Сталина с точки зрения З. Фрейда уже имела место. В незаконченной биографии Сталина, написанной Л. Троцким, имя З. Фрейда упоминается [Троцкий 1990: 28]. Но раз З. Фрейд упоминается, то тут, разумеется, невозможно обойтись без Эдипова комплекса, а, следовательно, без драматических взаимоотношений отца и сына. Естественно, что раз сын стал бунтовщиком, мятежником, революционером, то нельзя отрицать травмы, связанные с жесткими установками отца к сыну. Как можно предположить, мстительность будущего вождя, принявшая в период его пребывания у власти столь гипертрофированные и чудовищные формы, берет начало в этой детской травме, в Эдиповом комплексе. Как свидетельствуют знавшие юного Иосифа в детстве люди, отец Иосифа, перебравшийся из деревни в город, был сурового нрава, к тому же был алкоголиком. Своим поведением он изгонял из сердца ребенка любовь к людям, отцу и богу («Незаслуженные, страшные побои сделали мальчика столь же суровым и бессердечным, как был его отец» [Троцкий 1990: 27]. Неудивительно, что эту враждебность Сталин будет переносить на всех, кто мог иметь какую-либо над ним власть. Таким образом, предпосылки к садизму, принявшему в период, когда Сталин оказался на вершине власти, были заложены еще в детстве. В том, что Сталин представляет классический тип садиста, не приходится сомневаться. Под этим углом зрения характер Сталина пытался проанализировать Э. Фромм, используя приводимые Р. Медведевым факты [Фромм 1994: 248].

Однако, когда Л. Троцкий негативных черт в характере Сталина касается, то акцент с семейных отношений он переносит на социальные отношения, в частности, на переживания ребенка Иосифа, связанные с социальными перегородками. Сын бедного ремесленника-сапожника, каким был его отец, рано ощутил унизительность социального неравенства. В последующий период Иосиф Джугашвилли предстает одним из самых бедных учеников духовного училища в Гори. Весьма показательна фраза юного Сталина, сказанная одному из его товарищей: «Знаешь, нас обманывают, бога не существует…». За духовным училищем в Гори последовала духовная семинария в Тифлисе. Сталин, однако, не стал священником. Ряса священника была сброшена. Он так и не овладел искусством смирения. Вкус к богословию утрачен. Происходит разрыв с религией. Любимый герой юного Сталина – восставший против властей романтический вождь горцев – Коба из романа Казбеги «Нуну». Далее – марксистский кружок, в границах которого ressentiment юного бунтаря Иосифа приобретет рево-

люционные и, следовательно, идеологические формы. Так, собственно, и бывает. Бунтарский дух юноши может получить выражение в сообществе, утверждающем какое-либо мировоззрение «В околодвадцатилетнем возрасте молодые люди, – пишет Э. Эриксон в монографии, посвященной Лютеру, – даже при отсутствии явной идеологической вовлеченности или интереса, отдаются с преданностью отдельным лидерам и группам, напряженной деятельности или сложным делам…» [Эриксон 1996: 82].

Но это принимаемое юношей новое мировоззрение может способствовать развитию как конструктивных, так и деструктивных комплексов. В случае со Сталиным получил развитие деструктивный комплекс, направленный на разрушение социального строя, который явился слагаемым марксистской идеологии. Подчеркивая роль идеологии в преодолении кризиса юношеской идентичности, Э. Эриксон пишет: «Идеологии канализируют юношескую взрывную нетерпимость и искренний аскетизм, равно как юношескую склонность к острым впечатлениям и к бурному негодованию, в направлении того социального фронтира, где наиболее оживленная борьба между консерватизмом и радикализмом» [Эриксон 1996: 83]. Что касается Сталина, то воспринимаемая им марксистская идеология не только преображала деструктивные инстинкты в высшие формы борьбы с социальной несправедливостью, но и давала возможность проявиться им в непосредственных деструктивных формах. Речь в данном случае должна идти о той деятельности Сталина, о которой партия всегда умалчивала, а именно, об экспроприациях.

Сегодня не столь важно, какие субъективные мотивировки для оправдания единоличной власти были у Сталина. Важно уяснить, насколько с объективной точки зрения оправдан взятый им политический курс. Чтобы это понять, необходимо «творческий ответ» Сталина осмыслить одновременно с нескольких точек зрения. Когда Л. Троцкий пытается понять феномен перерождения революционеров в новой ситуации, ему на память приходит аморализм, характерный для эпохи упадка Римской империи и западного Ренессанса. А. Лосев об эпохе Ренессанса пишет, что тогда выдвинулись сильные личности, отличавшиеся беспощадной жестокостью и неистовой яростью [Лосев 1978: 125]. Л. Троцкий, проводя такую параллель, утверждает, что революция вернула к этим эпохам и даже превзошла их по масштабу жестокостей и зверств. Вспоминая о применении ядов для отравления врагов во времена Нерона, он пишет: «Доверие при римском дворе не было очень высоко, как и в нынешнем Кремле» [Троцкий 1990: 11]. Л. Троцкий делает переход от цезаризма Древнего Рима к Сталину («Власть Сталина представляет собою современную форму цезаризма» [Троцкий 1990: 15].

Вакханалия подозрительности, недоверия и насилия характерными также оказались для эпохи Лодовико Сфорца, Лоренцо Медичи и Цезаря Борджиа. В ту эпоху распространялись жажда мести, ложь и подлог, преступления и человекоубийства, кровожадная жестокость. Не отказывая названным фигурам в положительных чертах, поскольку они были яркими личностями и в них сочетались честолюбие и беззаботность, легкомыслие и беспощадность, свирепость и великодушие, Л. Троцкий этого противоречия лишает Сталина, который хотя и напоминает сверхчеловека Ренессанса, но представляет лишь самую мрачную сторону его души и начисто лишен светлой. «Чтобы быть похожим на сверхчеловека эпохи Возрождения, Сталину не хватает красок, личности, размаха, соображения, капризного великодушия. В ранней молодости после того, как он оказался вынужден покинуть семинарию за неуспешность, он одно время служил в тифлисской обсерватории бухгалтером. Хорошо ли он вел приходно-расходные книги обсерватории, осталось неизвестным. Но бухгалтерский расчет он внес в политику и в свое отношение к людям. Его честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому расчету. Люди Возрождения были дерзки, Сталин осторожен. Он долго носит свою ненависть, пока она не превращается в отстой. Его месть имеет гигантский размах потому, что он стоит не на земле, а наверху самого грандиозного из всех аппаратов. Аппаратом же

Сталин овладел так как был неизменно верен ему. Он изменял партии, государству, программе, но не бюрократии» [Троцкий 1990: 14].

Переключая внимание с эмпирической истории революции как истории событий на глубинные трансформации российской истории XX века, мы претендуем на рассмотрение всего периода, который в истории представлен Сталиным, с точки зрения российской ментальности, как, впрочем, и российской культуры. Необходимо проследить не только императивы его политического курса, но и трансформации культуры, происходящие под воздействием этого курса, как, впрочем, и трансформацию большевистского курса и, в частности, курса Сталина под воздействием ментальности русских. Так, Октябрьская революция оказалась событием, которое не только приближало будущее, но и возвращало прошлое, до того остающееся упрятанным в подсознание народа.

Об этой трансформации ментальности, вышедшей из подсознания, хорошо сказал Г. Федотов, обративший внимание на то, что как бы ни были резки разрывы исторических эпох, они все же не в силах упразднить историческую непрерывность. Мы делаем это наблюдение Г. Федотова определяющим для понимания «творческого ответа», данного Сталиным. «Сперва подпочвенная, болезненно сжатая, но древняя традиция выходит наружу, – пишет Г. Федотов, – сказываясь не столь в реставрациях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания. Однако старина эта бывает не похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Из катастрофы встают ожившими гораздо более древние пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человеческой истории, как в истории земли, чем древнее, тем тверже: гранит и порфир не легко рассыпаются. Вот почему, не мечтая о воскрешении начал XIX века, мы можем ожидать – и эти ожидания отчасти уже оправдываются – воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры» [Федотов 1992 : 164].

В данном суждении Г. Федотов затронул то, что нам хотелось бы проиллюстрировать на примере восхождения Сталина к власти и пребывания его на протяжении десятилетий на вершине власти. Что же все-таки было главным в выходящем из исторической памяти на поверхность ментальном комплексе народа, являвшегося до радикальных изменений подданным империи? Дело в том, что революция хотя и позволяла проявить анархический комплекс, сопровождавший порыв к свободе, но этот период долго не продолжался. Очень скоро масса ощутила дискомфорт от утраты империи и готовность ее вернуть. Так, уже в 1922 году Н. Устрялов диагностировал эту готовность к реабилитации империи. «В русской душе рядом с инстинктами анархического бунтарства (отрицательно связанными с повышенным чутьем предельной правды) искони уживалась воля к здоровой государственности большого размаха и калибра. Быть может, тем тверже и действенней была эта воля, что для торжества своего ей приходилось преодолевать не только внешние исторические препятствия, но и неумолимую внутреннюю самокритику» [Устрялов 1925: 244]. Но то, что случалось в истории не раз, то проявилось и в первые постреволюционные годы. «Но и разрушив конкретную форму своего государственного бытия, под конец, утратившую жизненные соки, он не мог перестать и, конечно, не перестал быть государственным народом, и, предоставленный самому себе, затосковал по государственности в бездне анархии и бунтарства» [Устрялов 1925: 245]. Изменяющаяся ментальность, несомненно, потребовала и тех типов личности, которые могли бы быть способными вывести массу из всех исторических бурь.

Однако вот ведь что интересно. Сталина окружало множество революционно настроенных молодых людей, и они могли иметь такие же детские травмы, как и Сталин. Но вождями они не стали. Сталин таким вождем стал. Его жизнь – это иллюстрация идеи Ф. Ницше по поводу воли, сведенной философом к воле к власти, которая постепенно трансформируется в планетарный комплекс. Посвящая свое психоаналитическое исследование молодому Лютеру, Э. Эриксон невольно обращается к диктатору XX века – Гитлеру. Но биография Лютера

в еще большей степени провоцирует на сопоставление с биографией Сталина. Ведь и тот и другой должны были стать смиренными верноподданными церкви и богу. Правда, революция Лютера развертывалась в границах религии, и он все делал, чтобы религиозная реформа не развертывалась в формах социального движения и революции. Тем не менее, как и Лютер, Сталин смог преодолеть кризис юношеской идентичности с помощью принятия радикальной идеологической доктрины. Как и в случае с Гитлером, так и в случае со Сталиным мы имеем дело с жестоким отцом и с противостоянием отцу. Касаясь этой темы, Э. Эриксон пишет: «Понадобился бы очень обстоятельный анализ, чтобы показать, какими путями некий мальчик может вплавить свою мечту в историю и стать гением зла, и как целый народ оказался готов принять эмотивную власть этого гения как воплощение надежды на осуществление национальный устремлений и как гарантию против преступности» [Эриксон 1996: 198].

В случае со Сталиным необходимо тоже понять, как целый народ оказался готовым принять императивы этого лидера. Выяснение этого обстоятельства требует ответа на вопрос: достаточно ли личных свойств будущего лидера для того, чтобы занять место на вершине власти и удержаться на этой вершине в самых экстремальных ситуациях, случившихся в истории, какой, например, явилась вторая мировая война? Ведь в определенном смысле вторая мировая война предстает очередным актом мировой драмы, а первым ее актом была первая мировая война и русская революция. Именно в первом акте свобода, которая понималась в соответствии с идеалами французской революции, т. е. как политическая свобода, представала еще и в других одеждах, а именно, в цивилизационных. Если первая мировая война была не только причиной, но и следствием заката Запада, то русская революция была следствием этого заката. Революционная Россия оказалась первой и единственной страной, продемонстрировавшей выход за пределы императива вестернизации.

Но что означает выход? Чтобы выйти из западной цивилизации, необходимо сначала туда войти. А вошла она туда лишь на поздних этапах истории. Это вхождение было весьма поверхностным. Ментальность русских к этому времени была сформирована византийской традицией. Россия обернулась. Из послушной ученицы она превратилась в бунтарку. Воспользовавшись маргинальной для Запада концепцией, а именно, концепцией Маркса, не имеющей столь серьезного значения для самого Запада, эту концепцию Россия обратила против Запада.

Выставляя заслон против красной заразы во второй мировой войне, Запад пытался смирить и подавить некогда возникший в его недрах комплекс сопротивления, который, тем не менее, в границах собственно западной цивилизации постоянно имеет место. В начале XX века этот комплекс, соприкоснувшийся с русской ментальностью и спровоцировавший в ней активность, начал принимать очевидные и угрожающие Западу формы. Именно поэтому уже в новой ситуации Сталину пришлось завершать то действие, которое в первые десятилетия XX века случилось в России. Можно даже утверждать, что судьба революции, столь неясная не только в 20-е, но еще и в 30-е годы, когда Сталин уже объявил построение социализма, все еще представляла проблему. Несмотря на сталинскую пропаганду, невозможно было не ответить на вопрос: так что же принесла революция, что она дала народу, явилась ли она конструктивной или деструктивной? Нужно было вводить жизнь в какие-то берега и, может быть, не совсем в те, в которые ее, как казалось, вводил Сталин.

Эта ситуация неопределенности и нестабильности как следствие распада старой империи подводила к острой проблеме идентичности русских. Вот почему в России с таким интересом вчитывались в диагноз «заката» европейского мира, представленный Шпенглером, этим, как некоторые считали, «прусским славянофилом», поскольку он ставил акцент не столько на родстве России и Запада, сколько на их несходстве. Более того, закату Запада Шпенглер противопоставил оздоровляющий мир свет с Востока, что, конечно же, соотноси-

лось с Россией. Трактат Шпенглера появился в Германии в 1918 году, а его издание в России было предпринято в 1923 году. Этому интересу к Шпенглеру в России благоприятствовал начавшийся после первой мировой войны и революции процесс новой мировоззренческой и культурной самоидентификации [Тиме 2010: 460].

В любом случае в очередном акте мировой драмы активное участие должны были принять и другие народы. Вторая мировая война в определенном смысле была реакцией на русскую революцию 1917 года. Она должна была под этой революцией подвести черту. Тот сценарий, который возник в сознании русских марксистов, начали реализовывать Ленин и Троцкий. Но продолжить его реализацию обязан был Сталин. Этот финал революции совершался именно во второй мировой войне. Эта война выносила приговор совершенному некогда большевиками деянию – конструктивным или деструктивным оно было? Война решала судьбу революции, судьбу России, но, между прочим, и судьбу самого Сталина, ведь утверждал же Гегель, что война способна укреплять власть.

4. Вождь и масса в ситуации романтической и термидорианской фазы в истории революции

Видимо, ничего невозможно понять ни в характере, ни в поступках Сталина, если не принимать во внимание кардинально изменяющуюся ситуацию, как и исключительность творческого ответа, который в меняющейся ситуации нужно было давать. Ясно, что политические лидеры типа Ленина и Троцкого, столь открытые массе, да, собственно, и явившиеся порождениями возбужденной массы, должны были уйти со сцены. Революционное своеволие закончилось. Тогда-то и начали восхождение те, кто в ситуации единства возбужденной массы и пламенных трибунов оставался в тени. Л. Троцкий свидетельствует, что Сталина невозможно представить «выступающим под открытым небом перед полком: для этого у него не было никаких данных» [Троцкий 1990: 130]. Конечно, Сталин все же выступал перед массой и в печати, но, как утверждает Л. Троцкий, это не было его стихией. «Он был редактором центрального органа не потому, что был писателем по природе, а потому, что не был оратором и вообще не был приспособлен для открытой арены. Он не написал ни одной статьи, которая привлекла бы к себе внимание; не поставил на обсуждение ни одного нового вопроса, не ввел в оборот ни одного лозунга» [Троцкий 1990: 303].

Конечно, здесь нужно читать между строк. Давая характеристику Сталина, Л. Троцкий одновременно дает характеристику и себе, причем исключительно позитивную. Он набрасывает портрет Сталина, фиксируя в нем отсутствие того, чем обладает он сам, а именно, блестящий ораторский талант, позволяющий ему эффективно воздействовать на возбужденную массу. Таким талантом обладал и Л. Троцкий, и В. Ленин. Выдвижению их в лидеры, способные вести за собой массу, влиять на нее, во многом способствовала ситуация, а именно, ситуация революционного энтузиазма и подъема. Это и есть романтическая фаза революции. Этих вождей выделила масса. Они ее произведение. Они оказались более способными зажигать массу, но и зажигаться той страстью, которая кипела в людях, находящихся под воздействием ressentiment. Им дано было в намагниченной массе улавливать эмоции, подхватывать неоформленные в слове и лозунге настроения массы и излагать их в предельно эмоциональной, понятной и зажигающей форме. Они – гениальные импровизаторы. Их стихия – контакт с наэлектризованной революционными настроениями массой.

Можно утверждать, что эти вожди были созданы массой, находящейся в ситуации революционного подъема в состоянии выхода из себя. Но поскольку они были выражением бессознательной стихии массы, то именно они и сами могли воздействовать на массу, формировать ее в соответствии с требованиями момента. В ситуации революционного подъема,

который ведь никогда не бывает длительным, возникает совершенно исключительная психология. Она исчезает, как только революционное возбуждение угасает. Тогда наступает новая ситуация, и в этой ситуации магия вождей, произносящих пламенные, зажигательные речи, исчезает. Они уходят в тень или перерождаются. Но любопытно, что уход вождей, выразивших психологию революционного подъема, происходит на фоне возвышения тех из революционеров, которые в ситуации революционного подъема оказывались в тени. В новой ситуации они берут реванш и оказываются в центре внимания. Контакт этих новых вождей с массой будет совершенно другим. Здесь стихия уступает место регламентации, а свобода заменяется подчинением. В этом случае исчезает атмосфера единения массы с вождем, которое возникает стихийно и естественно. Вождь нового типа, утверждая на словах единство с массой и, следовательно, как бы продолжая традицию, сформированную предшествующими вождями, на деле оказывается по отношению к массе на дистанции. Новый вождь в изменившейся ситуации массе уже не доверяет.

Любопытно, что в биографии Сталина, написанной Л. Троцким, эта закономерность улавливается. В ситуации, когда Ленин и Троцкий оказываются в зените славы, когда они мгновенно реагируют на актуальные и постоянно меняющиеся настроения массы, Сталин продолжает оставаться неизвестным. Так, реагируя на заключение Енукидзе по поводу того, что Сталин не искал личной популярности, Л. Троцкий пишет: «Этот мотив, повторяющийся во многих официальных воспоминаниях, имеет своей целью объяснить, почему Сталин до самого прихода к власти оставался неизвестным народным массам, даже широким кругам партии. Неверно, однако, будто он не искал популярности. Он жадно искал ее, но не умел найти» [Троцкий 1990: 84]. Однако это объяснение непопулярности и неизвестности Сталина Л. Троцкий сводит лишь к личным качествам Сталина. Так, он сочувственно цитирует высказывание меньшевика Суханова, на которого Сталин производил впечатление «серого пятна, иногда маячившего тускло и бесследно» [Троцкий 1990: 267].

Но дело, конечно, не только в личных качествах Сталина. Любого вождя как харизматическую личность создает масса. Сталин, несомненно, тоже вождь. А, следовательно, он – тоже произведение массы, но только массы, оказавшейся уже в ситуации не революционного подъема, а революционного упадка. Массы, разочаровавшиеся в революции и оказавшейся в тупике. А, следовательно, в ее сознании происходит переоценка и самой революции, и ее идеалов, а также и вождей, призывавших ее к тому, что не осуществилось и осуществиться не могло. В этот момент разочарования происходит и переоценка массой самой себя. То, что казалось подвигом и героизмом, начинает восприниматься дикостью и насилием. Масса, ведомая вождями, стремилась к свободе и гармонии, но пришла к хаосу и смуте. Ощутив опасность, масса стремится преодолеть хаос и нуждается в вождях иного плана, способных наводить порядок. Такие вожди приходят, подтверждая истину, открытую еще древними философами и снова в XX веке подтверждающуюся. Эта истина гласит: каждый шаг на пути к свободе порождает возвратное, регрессивное движение, приводя к еще большей несвободе, чем была раньше. Не говорит ли такое признание лидера многое не только о личности самого лидера, но и о той массе, которая позволила ему выдвинуться и даже не только позволила ему выдвинуться, но и способствовала его выдвижению и возвеличению? Не получил ли выражение в деятельности Сталина какой-то значимый и присущий самой массе комплекс? Без предрасположенности массы именно к такому лидеру подобного феномена в русской истории произойти не могло.

У новых вождей доверия к массе уже нет. У них нет той открытости, которая царила на митингах, на которых пламенные ораторы произносили свои гипнотически воздействующие речи. Эти новые вожди, казалось, прошли историческую школу Макиавелли. Они уже массе не доверяют. В новой ситуации обратная связь между массой и вождем исчезает. Связь ста-

новится односторонней. Вождь склонен ввести настроения массы в определенные границы и их контролировать. Сталин – тот самый претендент на роль необходимого для новой ситуации вождя. Новый вождь уже не доверяет массе, ибо догадывается об анархическом ее комплексе. Он догадывается, что анархизм может уничтожить любую регламентацию. Поэтому он опирается уже не на свой энтузиазм или даже фанатизм и не на свою веру, а на аппарат, на организацию, т. е. на бюрократию. Новый вождь не идеализирует массу. Он как скульптор хочет придать массе любую форму. Поэтому Сталину и не удалось играть первую роль в медовый месяц революции, как это удавалось Ленину и Троцкому. Между ним и массой непосредственного контакта быть не могло потому, что оратор – идеалист, оратор – энтузиаст, вступая в контакт с массой, способен пробудить лучшие стороны массы. Это романтическое восприятие революции.

Что же касается Сталина, то именно к этому-то он и не был способен. Здесь невозможно не процитировать Л. Троцкого. «В течение 1917 года, когда все агитаторы партии, начиная с Ленина, ходили с сорванными голосами, – пишет он, – Сталин вообще не выступал на народных собраниях. Не иначе могло обстоять дело и в 1905 году. Коба не был оратором даже в том скромном масштабе, в каком ораторами были другие молодые кавказские революционеры, Кнушанц, Зубаров, Каменев, Церетели. Он мог не без успеха изложить в закрытом собрании партии мысли, которые он твердо усвоил. Но в нем не было ни одной жилки агитатора. Он с трудом выжимал из себя фразы без колорита, без теплоты, без ударения. Органическая слабость его натуры, оборотная сторона его силы заключалась в полной неспособности зажечься, подняться над уровнем будней, создать живую связь между собой и аудиторией, пробудить в ней лучшую часть ее самой. Не загораясь сам, он не мог зажечь других. Холодной злобы недостаточно, чтобы овладеть душой масс» [Троцкий 1990: 102].

Естественно, что до середины 20-х годов мало кто мог думать, что Сталин – один из тех, кто станет главной фигурой в государстве («никто не знал, что говорил и делал Сталин до 17-го и даже до 23–24 годов» [Троцкий 1990: 153]. Более того, даже если кто-то его и знал, то отзывался так, как отзывался, например, старый большевик И. Смирнов, которого цитирует Л. Троцкий: «Сталин – кандидат в диктаторы? Да ведь это совсем серый и ничтожный человек. Это посредственность, серое ничтожество!» [Троцкий 1990: 167]. Но это все же случилось – Сталин стал главным лицом в государстве. Это требует объяснения. Л. Троцкий, который, казалось, о Сталине знал все, объяснить этого не способен. «В конце 1925 года, – пишет Л. Троцкий, – Сталин говорит еще о вождях в третьем лице и восстанавливает против них партию. Он вызывает аплодисменты среднего слоя бюрократии, что отказывает вождям в поклонах. В это время он уже был диктатором. Он был диктатором, но не чувствовал себя вождем, никто его вождем не признавал. Он был диктатором не силою своей личности, а силою аппарата, который порвал со старыми вождями» [Троцкий 1990: 153].

Следующая веха в восхождении Сталина – 1925 год, когда проходил XIV съезд партии, на котором он впервые читает политический доклад. Л. Троцкий комментирует это как событие, ведь аппарат уже в руках Сталина («Он диктатор. Страна этого не знает. Аппарату поручается сообщить ей об этом» [Троцкий 1990: 205]. Вот тут-то как раз и оказывается неизбежной параллель между действиями Сталина и некоторыми итальянскими князьями эпохи Ренессанса, которую позволил себе Л. Троцкий.

Когда Н. Макиавелли описывает действия Агафокла – царя Сиракуз, вышедшего из самого низкого и презренного состояния, то этот сын горшечника очень напоминает другого князя или государя, каким был Сталин. Аналогия срабатывает, ведь Агафокл удерживал власть с помощью насилия. Н. Макиавелли описывает, как Агафокл собрал народ и сенат Сиракуз, «как будто имея в виду обсудить некоторые касающиеся республики дела, и по данному знаку велел своим солдатам перебить всех сенаторов и самых богатых людей из народа;

когда их таким образом не стало, он захватил и удержал господство над этим городом без всякого сопротивления граждан» [Макиавелли 1996: 61]. В отличие от Агафокла, Сталин не убивал всех одновременно и в одном месте. Но убивал всех, кого подозревал в критическом отношении к себе или к возводимому им государству. И, надо полагать, убил он явно не меньше, чем убил Агафокл из Сиракуз.

В новой ситуации разочарования в содеянном выходят из тени те личности из сообщества революционеров, что дотоле оставались неизвестными. На первоначальном этапе революции они достичь успеха не могли. К власти должны были прийти совсем другие люди. Они должны были выразить новые настроения массы. Их ждали, ибо все были загипнотизированы аналогией с французским термидором, под которым, как известно, следует понимать контрреволюционный переворот. Речь идет о 27 июле 1794 года, когда в Великой Французской революции начался кризис революции, после которого постепенно начался возврат к развитию до того сдерживаемых якобинцами буржуазных отношений. Правда, этим революционный процесс не закончился. Перерождение революции с 9 ноября 1799 года вошло в новую фазу, известную как военный переворот или брюмер, в результате чего к власти пришел Наполеон. Начался этап диктатуры, опирающейся на военные силы, бюрократию, полицию. Разумеется, не только Сталин, но еще и Ленин протекание революции в России сопоставляли с фазами, проходимыми Великой Французской революцией, будучи уверенными в неизбежности термидора. Так, В. Ленин еще до введения нэпа, который мог бы свидетельствовать о русском термидоре, если бы при реабилитации собственности и частнохозяйственного капитала власть выпала из рук революционного правительства, набрасывал заметки: «Термидор»? Трезво, может быть, да? Будет? Увидим» [Ленин 1970 : 403].

Но если термидора в России все же не случилось, а была лишь его угроза, то вот что касается брюмера, связанного с властью, бюрократией и крайним огосударствлением, то он все-таки имел место, начиная с сталинского курса 1928–29-го годов [Козлов, Плимак 1990: 167]. Вот как, например, этот процесс движения к термидору в России воспринимался взглядом из эмиграции. Издаваемый в Париже журнал «Смена вех» в 1921 году приводил вопрос Ллойда – Джорджа «В каком месяце календаря французской революции находится сейчас Россия?», заданный Красину. Но, кажется, вопрос опережал события. Как констатировалось в журнале: «В России происходят периодические чистки партии коммунистов, но до той кровожадной внутренней борьбы, которая велась между якобинцами 1794 года, дело не доходит, и что-то не слышно про Сен-Жюстов, в присутствии своих товарищей, строчащих их обвинительные акты. Страсти, честолюбия, соревнования, вскипавшие на почве галльских темпераментов, как-то теряют свою остроту на славянских просторах. На «термидор» в собственном смысле надежды в России плохи» [Смена вех… 1921: 5]. Но этот вопрос многих внутри России тревожил. В 1927 году в журнале «Революция и культура» утверждалось, что в России нет основания для термидора, как нет тех сил, которые бы могли его совершить [Моносов 1927: 34]. Но это, естественно, не так. Это была столь актуальная тема, что ее пришлось затрагивать даже на XIV съезде ВКП (б) в 1925 году, хотя, как свидетельствуют исследователи, впервые слово «термидор» в России выходит из кулуарного подполья лишь в 1927 году [Козлов, Плимак 1990: 167].

Так, во время съезда делегатом Лариным было зачитано письмо одного члена партии, в котором излагалось мнение одного из делегатов съезда от Ленинградской партийной организации – Залуцкого. В этом письме говорилось следующее: «Один исторический пример должен быть у нас сейчас в центре внимания: это – термидорианский путь развития Великой Французской революции… В погоне за развитием производительных сил во что бы то ни стало, они (т. е. ЦК) развязывают рост частнособственнических отношений, ничего этому росту не противопоставляя. Бухарин выбрасывает лозунг «Крестьяне, обогащайтесь». Кулаче-

ство растет, крепнет, а они этого не видят или даже скрывают, затушевывают. Строят мещанское государство, то, что Ленин называл «царством крестьянской ограниченности», а они называют строительством социализма. Умные сменовеховцы, вроде Устрялова, лучше, чем наши «вожди» учитывают обстановку. Они видят слабость наших верхов и, оказывая давление на госаппарат и некоторые слои в партии, помогают им, толкая революцию к термидору» [XIV съезд… 1926: 358].

Поскольку Залуцкого обвинили в том, что он усматривает в деятельности ЦК термидорианское перерождение, ему пришлось от этого отрекаться, что он сделал в своем заявлении. «Я здесь заявляю перед съездом, что я не говорил и не мог говорить о термидорианском перерождении ЦК. Я говорил о четырех социальных или политических группировках, которые имеют вполне законченную политическую физиономию… Я говорил, что после поражений и побед на фронтах гражданской войны эти группировки вынуждены были изменить свою тактику политической борьбы и перейти от вооруженной борьбы к методам мирного характера и методам воздействия на внутренние процессы политического развития в нашей стране, используя его в своих интересах, что это по сути дела является тем, что Милюков и устряловцы зовут «термидорианской тактикой», толканием страны на термидорианское перерождение. Я об этих силах говорил и выражал беспокойство, что эту внутреннюю тенденцию, которая является довольно тонкой работой, на мой взгляд, мы еще слабо, очень несовершенно вскрываем перед рабочими массами» [XIV съезд… 1926: 358].

Сложность ситуации заключалась в том, что на словах Сталин подавал себя представителем старой гвардии большевиков, каким он и был (как же, ведь он часто отбывал срок в ссылках), а в реальности пытался реализовать новый курс, который с идеалами представителей старой гвардии расходился. Казалось, что именно сам Сталин и может стать вождем термидора, а также заодно и брюмера, т. е. диктатором. То, что он пытался уловить в своей среде, он реализовал сам. Он сам стал Наполеоном Бонапартом, хотя пытался спроецировать эту роль на других, пугая возможным перерождением революции в диктатуру как партию, так и массы. Между тем несмотря на то, что перерождение происходило и измена революционным идеалам имела место, пропаганда подавала его образ как верного соратника Ленина и выразителя установок партии. Ну, как же он – не верный представитель дела Ленина, когда он общался с Лениным, выполнял его поручения, отбывал сроки в ссылке и т. д.? Там, где это не подтверждалось, пришлось переписывать историю и делать из него главную фигуру во всех основных событиях совершающейся революции. Как это делалось – об этом очень подробно и тщательно проанализировано у Л. Троцкого.

Чем сильнее обозначалась новая ситуация, тем очевидней было расхождение между Сталиным как реальным человеком и Сталиным как проекцией возникшего в сознании массы образа Сталина. Сталин отдавал отчет в этом расхождении, что лишь свидетельствует об его интеллектуальном потенциале. Об этой трезвости Сталина в понимании того, как его воспринимает масса, свидетельствует его размолвка с сыном Василием после того, как тот попытался воспользоваться его фамилией. «Ты не Сталин, и я не Сталин – сказал он сыну – Сталин – это Советская власть! Сталин – это то, что пишут о нем в газетах и каким его изображают на портретах. Это не ты, и даже не я!» [Робертс 2014: 447].

Несмотря на это, Сталин не противодействует все нарастающему стремлению утвердить беспрецедентность его харизмы, что приобретает уже мифологические формы. Касаясь роли личности в истории и приводя в пример этому тезису деятельность Петра I, В. Розанов писал: « Явление Петра в истории нашей сводится в итоге в существе своем к появлению громадной личности, которая заменила собою нацию и заставила всю Россию прожить 25 лет не столько механико-историческою, сколько лично-биографической жизнью» [Розанов 1910: 75]. Если не принимать в расчет масштабы личности Петра I и Сталина (хотя Ста-

лин вдохновлялся образом Петра I, о чем свидетельствовало появление романов и фильмов о Петре в эпоху Сталина), то наблюдениями В. Розанова можно воспользоваться. Смысл диктатуры в том и состоит, что вся жизнь государства превращается в биографическое измерение жизни вождя. Побывавший в СССР в 1937 году Л. Фейхтвангер обратил внимание на колоссальный бюст Сталина на выставке Рембрандта [Фейхтвангер 1937: 59]. Но это мотивируется: вождь имел отношение ко всему, что происходило в обществе и искусстве.

Образ Сталина в сознании массы приобретает такие формы, что любые исторические аналогии при осмыслении его деятельности будут весьма приблизительными. Может быть, наиболее глубинными мотивировками его действий могут быть лишь мифологические мотивировки. Не случайно Н. Хрущев в своем знаменитом докладе, произнесенном на XX-м съезде партии, говоря о Сталине, позволил себе соотнести его образ с богом. Сталин, в самом деле, может быть соотнесен с языческим божеством из греческой мифологии Кроносом, который согласно Ф. Шеллингу, «есть тот, кто не терпит никакого иного бога кроме себя, утверждает себя в единоличном обладании реальным бытием, которое он не желает делить ни с кем другим» [Шеллинг 2013: 228]. Как утверждает Ф. Шеллинг, до появления жестокого и неблагосклонного к человеческому роду Кроноса никогда не совершалось кровавых человеческих жертвоприношений. Известно, что Кронос приносит в жертву даже своих сыновей. Уничтожается все, что угрожает единственности этого бога. Но только ли этим мотивом исчерпывается смысл жертвоприношений? Как заключает Ф. Шеллинг, «то дикое, неблагосклонное к культивированной человеческой жизни, что есть в Кроносе, происходит не из его настоящего бытия, но имеет происхождение гораздо более далекое, ведет начало от его древней природы» [Шеллинг 2013: 252].

Однако эта всепоглощающая воля к истреблению не исчерпывает смысл Кроноса. Ведь он в то же время дает надежду на мир и спасение. С Кроносом связана вера в лучшее будущее. Люди опасаются того, что Кронос перестанет быть богом и окончательно примет «свою прежнюю абсолютно истребляющую природу». «Этот страх, – пишет Ф. Шеллинг, – возникает в особенности во времена великих общенародных бедствий, несущих угрозу существованию всего государства… когда вследствие тяжелого военного поражения или опустошительной эпидемии чумы, распространяется панический ужас, карфагенский народ больше всего боится возвращения прежних времен» [Шеллинг 2013: 252]. Но ведь кризис революции в конце 20-х годов, т. е. термидор как раз и создавал такую опасность возвращения в прошлое. И оно, кстати, происходит и произойдет незаметно в формах огосударствления всего и вся, а, следовательно, в формах империи. Старая империя угасла. Но Сталин ее возродит. Только массе это будет преподнесено как величайшая победа вождя. Страх перед возвращением к прошлому вспыхнет снова в связи с приближением второй мировой войны. И вот вывод Ф. Шеллинга, который подтверждает, как исторические события могут демонстрировать мифологический прообраз. «В самых древних обрядах, в наиболее древних выражениях поэтического искусства, – пишет он, – можно наблюдать, насколько твердо и уверено человечество, однажды совершив выход из доисторического состояния, придерживается раз и навсегда завоеванного гражданско-исторического образа жизни, и насколько близким еще для него является воспоминание о прежнем состоянии и связанный с ним страх вновь потерять свое нынешнее бытие и попасть под власть собственного прошлого. Именно этот страх заставлял приносить жертвы богу. Тем самым, бога упрашивали оставаться Кроносом и не возвращаться к прошлому» [Шеллинг 2013: 253].

Состояние страны в период нэпа является лишь слабым напоминанием о том, что в свое время произошло во Франции. Термидора не произошло, но он все же намечался. Однако логика термидора в постреволюционной истории хотя и просматривается, но смысла сталинского курса и «творческого ответа» Сталина не исчерпывает. Она затрагивает глубинные

пласты российской истории, возвращает к ее архетипам, а потому аналогии с французской революцией явно не могут объяснить, что же все-таки произошло с Россией в эпоху сталинской диктатуры. «Творческий ответ» можно рассматривать, исходя из потребностей уже не только революции, а выживания общества, оказавшегося в ситуации тупика и хаоса.

В самом деле, революция позволила изжить романтические и утопические настроения. Она разрушила все институты старой империи и для того, чтобы продолжить существование, необходимо было преодолевать хаос и наводить порядок, а, следовательно, и строить общество на новых основаниях. С этой точки зрения революция, как идеальное состояние общества, начала уходить в прошлое. Если общество оказывалось снова в кризисе, то уже не до идеалов революции. Нужно было решать проблему выживания людей. С этой точки зрения вполне допустимо было и то, что выпадало из сознания пламенных революционеров. Иначе говоря, в этом случае следовало исходить уже не из интересов революции, а из интересов общества, а, точнее, государства. Этот вопрос стоял уже перед Лениным. Реагируя на кризис революции, он заставил себя пойти на попятный, сделать уступки и объявить новую экономическую политику. Но такая уступка была сделана лишь в экономической сфере.

В последующей истории Сталину придется делать и следующие, более серьезные уступки, позволяющие утверждать, что он явился не продолжателем революции, а ее похоронщиком. Чем очевидней оказывается предательство Сталина по отношению к революции и к старой гвардии большевиков, принесших свои жизни в жертву ради того, чтобы разрушить империю, тем больше оснований говорить о новом «творческом ответе» Сталина на Вызов истории. Потому что смысл «творческого ответа» вождя следовало было осмыслить уже не с точки зрения революции, а с точки зрения того противостояния, которое развертывается на протяжении всей истории – противостояния Запада и Востока, а, следовательно, и противостояния России и Запада.

Если смысл революции с этим противостоянием цивилизаций связывать, то роль Сталина в последующей истории вовсе не предстанет такой уж и предательской по отношению к революции. Но она не покажется таковой только в том смысле, если ее значение мы сведем исключительно к противостоянию цивилизаций и не будем принимать во внимание внутренних для России проблем. Хотя и внутренние, и внешние проблемы революции тесно между собой связаны. Ведь «творческий ответ» Сталина был связан с отказом от либеральных идей и с возвращением к тоталитарной структуре государства. С точки зрения Сталина это было единственным выходом из создавшегося положения. Но, с другой стороны, невозможно утверждать, что Сталин был яростным сторонником тоталитаризма как единственного варианта. Источники свидетельствуют, что у него были и другие варианты.

Так, по мнению американского исследователя Д. Робертса, когда после второй мировой войны он стал определять политику в странах восточной Европы, его целью было утверждение в этих странах народной демократии, а вовсе не советизации и большевизации этих стран, как, в конечном счете, и получилось. Но эта несостоятельность структур народной демократии произошла явно не по вине Сталина, а в силу складывающихся в мире обстоятельств и, в частности, развертывания «холодной войны». Только так можно было обеспечить победу в том противостоянии, напряженность которого в XX веке после 1917 года повысилась. Впрочем, сама революция тоже была следствием этой напряженности, имеющей место в результате давления на Россию Запада, что отмечает А. Тойнби. Возврат к тоталитарной структуре, позаимствованной в историческом архиве как единственное с точки зрения Сталина, что способно вывести из тупика и не проиграть, по сути, обесценил все достижения революции, способные изменить жизнь русских. Чудовищная регламентация жизни и запрет на любое свободное выражение мысли имели место на протяжении десятилетий. Они оставались реальными даже после второй мировой войны.

Однако именно это как раз и свидетельствует о том, что такая ситуация не может продолжаться длительное время. Когда А. Тойнби говорит о причинах распада и исчезновения Византии, в качестве такой причины он указывает на эту регламентацию государства, на тоталитарные императивы власти. Собственно, если оценивать сталинский курс в больших длительностях, то получается, что этот его «творческий ответ», реальный и эффективный в период мировой войны, оказался причиной последующего распада, созданной им империи. Иначе говоря, то, что спасает, является одновременно и тем, что является причиной распада, что мы и наблюдали, если иметь в виду сталинский «творческий ответ», в последних десятилетиях XX века. Только этот распад наступает не сразу, а спустя какое-то время.

Сегодня деятельность Сталина должна быть осмыслена не только с точки зрения интересов революции или интересов общества, а с точки зрения перспектив существования цивилизации. При этом совершенно не важно, осознавал ли сам Сталин, что предпринимаемые им решения относятся именно к такой постановке вопроса. Важно сегодня поставить вопрос именно так. Исчерпывается ли смысл принесения в жертву огромного числа населения, в том числе и представителей партии и даже лучших ее представителей, лишь стремлением Сталина захватить и сохранить за собой власть, как это представляет Л. Троцкий в своей незаконченной биографии Сталина, над которой он трудился в 1940 году, пока его не ликвидирует агент Сталина Рамон Меркадер, или же оправдание такому жертвоприношению лежит в какой-то иной плоскости? Но даже если действиями Сталина и руководило стремление сосредоточить в своих руках неограниченную власть и ее удержать, то не лежит ли за этим стремлением еще какая-то мотивировка, скажем, мотивировка макиавеллистского характера. Ведь он мог субъективно думать, что единоличная власть – это единственное средство возведения и утверждения жесткой государственности в ее имперских формах как гарантии выживания цивилизации.

Сталин не мог не думать о том, что ему предстоит выиграть следующий акт в той драме, которая началась революцией 1917 года по вине лично его Сталина, как и его соратников по партии. Несомненно, он готовился к этому акту, с чудовищной жестокостью выжигая каленым железом все, что хоть как-то может этому помешать. На этот раз он уже не уклонялся от прямого участия, как это имело место в самых значимых событиях революционной истории, а осознавал, что именно он и является в заключительном акте драмы главным действующим лицом. Разнообразная деятельность Сталина в годы войны поражает. Он совмещал в своем лице все самые важные государственные посты. Неудивительно, что некоторые иностранные деятели приходили к выводу о том, что, если бы не Сталин, ни Россия, ни коммунизм не смогли бы выиграть войну с Гитлером [Робертс 2014: 579].

Но даже если согласиться с тем, что, жертвуя миллионами людей, Сталин стремился удержать в ситуации термидора власть, то нельзя избежать ответа на вопрос – руководствовался ли он при этом исключительно личным, эгоистическим стремлением, усиливаемым комплексом неполноценности, сформировавшимся у него за долгие годы революционной действительности, как это фиксирует Л. Троцкий, констатируя его гипертрофированный вождизм как гигантскую сверхкомпенсацию? «При исключительном, поистине дьявольском честолюбии и столь же исключительной воле, – пишет Л. Троцкий, – он отличался общей посредственностью умственных качеств. Из этого основного противоречия – флегматичности натуры – выросла осторожность, вкрадчивость, хитрость, получившие, в свою очередь, сверхъестественное развитие. Мы имеем здесь ту сверхкомпенсацию, которая нередко в биологическом мире заполняет органическую слабость. Отсюда же из этого противоречия, которое через всю его жизнь проходило, взялась и зависть – внутренняя не заживающая рана – и ее молочная сестра – мстительность» [Троцкий 1990: 204].

Или же, даже если с этим и согласиться, то нельзя ли допустить, что власть у Сталина ассоциировалась вовсе не с личным возвышением, а с фанатической верой в революционные идеалы, ради спасения которых он сначала добился, опираясь на усиливающийся бюрократический аппарат, власти, а затем стремился ее удержать? Может быть, единовластие Сталина было не следствием его зоологического эгоизма, а единственным способом, как он мог думать, сохранить место России в мировой истории? Конечно, чтобы эти задачи разрешить, могли быть испробованы и использованы разные средства. Единственным средством Сталин мог видеть лишь единоличную власть, опирающуюся на жесткую административную систему, на бюрократический аппарат.

Вообще, применительно к Сталину наивно формулировать мысль о верности революционному идеалу, когда, как доказывает Л. Троцкий, Сталин на разных этапах революционной истории отнюдь не торопился совершать революцию, а очень часто в ответственные моменты вообще уходил в тень, чтобы не засветиться. Скорее уж применительно к Сталину можно говорить не о верности революционным идеалам, а о необходимости сохранения цивилизации. Ведь не мог же Сталин не знать, что совершенная в России революция, понимаемая большевиками как запальник для мировой революции, перепугала западное мещанство, которое неизбежно выставит щит против красной чумы, что, собственно, в скором времени и случится. Так что к концу 20-х годов вопрос стоял уже не о верности революционным идеалам, а о спасении цивилизации.

Казалось бы, применительно к Сталину не лишнее говорить и о верности революционным идеалам. Разве, казалось бы, не доказывает клятва Сталина о верности делу Ленина одновременно и верность революционным идеалам? Но на самом деле, такая верность делу Ленина у Сталина как раз и отсутствовала. Как пишет Л. Троцкий, Сталин канонизировал Ленина лишь после его смерти, используя эту манифестируемую им верность Ленину как ступеньку на своем пути к власти. Тут все дело в том, что революция оказывалась, в том числе, и провалом в архаику. Это проявляется в той ауре, которой масса наделяет вождя. Констатируя восприятие членами общества сложившейся после революции ситуации как беспредела, французский социальный психолог, последователь Г. Лебона С. Московичи пишет о возникающей потребности в лидере, обладающем харизматическими признаками. Обычно такими лидерами становятся маргиналы, иностранцы или прибывшие из периферии – Наполеон с Корсики, Гитлер из Австрии, Сталин из Грузии.

С. Московичи обращает внимание на противоречие. Ведь в обществах, стремящихся воплотить идеал демократии, такие харизматические личности, кажется, уходят в историю. Но реальность опровергает такое заключение. «Этот тип вождя не исключение, – пишет С. Московичи, – но он кажется архаичным, по существу. Похоже, он свойствен обществам прошлых веков, а в наше время интерес к нему скорее исторический. Но не видим ли мы, что он сохранился и распространяется вопреки ожиданиям» [Московичи1990: 354]. С. Московичи реабилитирует замысел Г. Лебона, пытавшегося в XIX веке аргументировать потребность в разработке специальной дисциплины – психологии масс. Не случайно, высказывая мысль о явлении новых «культурных героев» на арене политической истории XX века, он цитирует то место из Г. Лебона, в котором говорится, что тип героя, которого любят толпы, всегда будет типом Цезаря («Его блеск соблазняет их, его авторитет им импонирует. А его меч внушает страх» [Московичи 1990: 354].

Констатируя выброс архаики в сознании массы, в особенности в кризисной ситуации, С. Московичи с помощью этого выброса архаики пытается объяснить известный лозунг «Сталин – это сегодняшний Ленин», во многом определивший психологию культа личности. С помощью факта смерти Ленин был сакрализован, а, следовательно, приобрел архаическую ауру первопредка, то есть стал религиозной фигурой. Представляя Сталина преемником Ле-

нина, масса наделяет образ Сталина той же сакральной аурой, что ассоциировалась с Лениным. Частью этой пропаганды был и кинематограф, в котором эта тема перенесения ауры мертвого вождя на вождя живого постоянно присутствовала. В наиболее яркой форме она была выражена в фильме М. Чиаурели «Клятва». Смерть Ленина массовым сознанием воспринималась в духе архаических и мифологических образцов. «Конечно, эти идеи чужды марксизму, – пишет С. Московичи. – Но они не были чужды ни реальности, ни психологии толп. А те, в свою очередь, привели к тому, что после его смерти наследники объявили его имя священным, набальзамировали и выставили его тело перед Кремлем как святую реликвию и бессмертного бога. Известно, что его вдова и часть руководителей воспротивились этому шагу, имеющему отношение скорее к религии царей и фараонов, чем к науке Карла Маркса» [Московичи 1996: 415].

В начале 30-х годов в Москве было издано известное сочинение Н. Макиавелли «Государь», что, наверное, не случайно. У Н. Макиавелли есть такое суждение. «Опыт показывает, что великие дела совершают те, которые умеют подчинять себе людей посредством хитрости или насилия… Когда дело идет о спасении отечества, нельзя обращать внимание ни на какие трудности и на то, справедливо ли это или несправедливо, гуманно или жестоко, похвально, заслуживает порицания, но, оставляя в стороне все другие критерии, надо прибегать исключительно к тому средству, которое может спасти жизнь и сохранить свободу отечества» [Троцкий 1990: 14]. По сути, Н. Макиавелли провозглашал ради выживания государства принесение в жертву морали. Но именно этот принцип и был реализован Сталиным. «Все низшие стороны интеллекта (храбрость, выдержка, осторожность, способность играть на худших сторонах человеческой души) развиты в нем чудовищно. Чтобы создать такой аппарат, нужно было знание человека и его потайных пружин, знание не универсальное, а особое, знание человека с худших сторон и умение играть на этих худших сторонах. Нужно было желание играть на них, настойчивость, неутомимость желания, продиктованная сильной волей и неудержимым, непреодолимым честолюбием. Нужна была полная свобода от принципов, и нужно было отсутствие исторического воображения» [Троцкий 1990: 203]. Все это и в самом деле характеризует тот психологический тип, который представляет Сталин.

5. Русская революция в контексте истории столкновения цивилизаций

Конечно, новый этап в истории начался не с русской революцией и не с первой мировой войной. Он приближался постепенно и связан с утратой Западом лидерства в мировой истории. Угасание западной цивилизации и диагностировал Шпенглер. Однако угасающая и еще не угасшая цивилизация все еще пытается оказать свое влияние на те цивилизации, которые когда-то подпали, как Россия, под это влияние. В этом случае столкновение с ними неизбежно. Это обстоятельство следует учитывать, когда приходится размышлять над революциями и войнами XX века. Конечно, вдохновляясь западными ценностями, Россия делала выбор. Так, русская революция 1917 года непонятна, если ее не поставить в связь с теми идеями модерна, что возникли еще в эпоху Просвещения. Заимствуя эти идеи, Россия их понимала по-своему.

Однако XX век подвел к выявлению обратной стороны идей модерна, о чем писали Т. Адорно и М. Хоркхаймер. В этих идеях стали усматривать не только конструктивное, но и деструктивное начало. Революции, развернувшиеся под воздействием идей модерна, демонстрировали связь со столь обожествленным в XVIII веке разумом, но их результаты пришли в противоречие с самой жизнью. Когда разум уступает жизни, то жизнь также не развертывается в стихийной форме. Жизнь пронизана культурой, а там, где культура, там и организация. Но это уже другой тип организации, организации невидимой и сформировавшейся

в удаленных эпохах культурогенеза. После второй мировой войны началась переоценка идей модерна, а вместе с этим и идеалов революции. Пожалуй, одним из таких событий, которое повлияло на переоценку идей модерна, явилась вторая мировая война, роль которой в переоценке идей модерна первостепенна. Под этим углом зрения мы рассмотрим тот «творческий ответ», который в российской истории был дан Сталиным.

Вопрос о кризисе революции сделался актуальным еще в конце 20-х годов. Об этом в 20-е годы свидетельствовали настроения, которые называли тогда упадочными. На этой волне вспыхнула, например, популярность С. Есенина, уже предвосхитившего деревенскую литературу эпохи оттепели. По поводу этих настроений возникли дискуссии с участием писателей и идеологов. На одной из таких дискуссий, имевших место в Коммунистической академии, один из выступавших Е. Преображенский даже прибегает к понятию «кризис». «Поэтому я думаю, – говорил он, – что мы не можем рассматривать отрицательных явлений, которые происходят перед нашими глазами: известной пассивности рабочего класса, чиновничьего омертвения ряда наших организаций, развития пьянства, разочарования и хулиганства среди рабочей молодежи, если мы не связываем всего этого в целом картину, в итог, который можно назвать кризисом нашей советской культуры» [Упадочное настроение… 1927: 61].

Таким образом, само собой разумеется, что в создавшейся после революции ситуации нужно было давать именно «творческий ответ». Это сделалось неотвратимой необходимостью. Для осуществления этой акции нужен был политический лидер, которому бы эта задача оказалась по силам. В чем состояла сущность нового «творческого ответа»? Применительно к какой реальности следовало давать творческий ответ: к реальности революции, к реальности политической системы или к реальности уже цивилизации? Вполне возможно было этот творческий ответ рассматривать применительно к революции. Если пропаганда ее идеализировала и превращала в определяющее событие истории, то логика подсказывает, что следовало бы исходить, прежде всего, из того, чтобы революция продолжалась, а пространство ее развертывания расширялось до всего мира, что, собственно, большевиками и замышлялось (не случайно она должна была осуществляться как мировая революция). В этой перспективе мыслил, работая над биографией Сталина, Л. Троцкий. Но если исходить из того, что революция совершилась и следовало бы уже осуществлять в реальной истории провозглашенные ею задачи и сформулированные цели, то, следовательно, творческий ответ связан с продолжением той деятельности, которую вели вожди, в том числе, Ленин и Троцкий. Но Ленин рано умер, а Троцкий вскоре был выдворен за границу. С его выдворением кончался романтический период революции.

Но чтобы ставить вопрос о новом «творческом ответе», нужно было во внимание принимать и новые настроения массы и, соответственно, новый тип политического лидера. Очевидно, что отношения между массой и лидерами кардинально изменились. Произошел спад революционного возбуждения, свидетельствующий о трансформации революционных, т. е. политических настроений в религиозные. Нельзя забывать о том, что в ситуации революции политические идеи воспринимались в ауре религиозных образов. Не случайно Н. Бердяев писал: «Как и все большие движения в истории, социализм имеет древние религиозные корни. Он коренится в древнееврейской мессианской идее, в древнееврейском хилиазме, в ожидании явления Мессии как земного царя, который водворит на земле справедливость и чувственное царство божие» [Бердяев 1925: 348].

Это максимально проявившееся в предреволюционные годы революционное возбуждение, благоприятное для появления на политической арене вождей, способных ощущать меняющиеся настроения массы и быстро на них реагировать. Во время вспышки таких настроений ressentiment массы изживался. Период лиминальности, т. е. выхода из социальной иерар-

хии и ощущения полной свободы, закончился. Чтобы общество хоть как-то функционировало, необходимо было наводить порядок. Реальность сплоченности, возникшей в эпоху революционного подъема или, как это видит В. Тернер, реальность коммунитас, в эпоху империи загоняемая в подсознание, исчезает. Развертывается движение к диктатуре как следствии хилиазма. «Преувеличение коммунитас в определенных религиозных или политических движениях уравнительного типа может вскоре смениться деспотизмом, сверхбюрократизацией или другими видами структурного ожесточения. Потому что, подобно неофитам – африканцам после обрезания, или бенедиктинским монахам, или членам милленаристских движений, люди, живущие в общине, рано или поздно начинают требовать чьей-либо абсолютной власти – будь то со стороны религиозной догмы, боговдохновенного вождя или диктатора» [Тернер 1983: 199].

Естественно, что новая фаза революционной истории делала актуальным обсуждение вопроса о перерождении революции. Аналогии между русской революцией и французской революцией были сильны. Но эти аналогии логично подводили к ситуации термидора, опасность которого ни для кого не была секретом. В момент кризиса революции возникает ситуация, когда роль Наполеона, пришедшего после французской революции к власти, мог сыграть кто-то из известных революционных вождей. Возникает необходимость во что бы то ни стало избежать термидора, а, значит, появляется и определенное отношение ко всякому проявлению оппозиции и инакомыслия в партии.

Несомненно, эта нетерпимость по отношению к инакомыслию усиливалась в связи с назревающей второй мировой войной. Ведь мысль о неизбежности войны в 30-е годы посещала не только Сталина. Разумеется, Сталин догадывался, что русская революция разбудила на Западе такие силы, которые никогда не смогут смириться с теми настроениями, которые спровоцировала русская революция и которые стали распространяться на самом Западе. Не случайно философ – эмигрант И. Ильин в одной из своих статей, написанных уже после второй мировой войны, появление фашизма в Германии ставил в зависимость от исхода первой мировой войны и, в частности, русской революции. «Фашизм возник как реакция на большевизм, – пишет он, – как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма – это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах; в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно – диктаториальном. Так было в Древнем Риме, так бывало и в новой Европе, так будет и впредь» [Ильин 1992: 75].

Конечно, фашизм не исчерпывается вспышкой государственно-охранительных сил. И. Ильин объясняет лишь причины возникновения фашизма и не рассматривает всю сложность его проявлений, заслуживающих гораздо более серьезной оценки. Очевидно, как делает вывод Д. Робертс, Гитлер имел намерение вести войну в России на уничтожение и истребление. В его замысел входило уничтожение не только армии, но и коммунистического режима [Робертс 2014: 129]. Но его замысел явно не сводился к уничтожению армии и режима. Он был направлен против славян как низшей расы. По этому поводу Гитлер говорил, что его принцип заключался в оправдании существования славян лишь с экономической точки зрения, т. е. их эксплуатации в интересах немцев. Было ясно, что рано или поздно охранительно-реакционные силы активизируются, и, следовательно, произойдет второй акт столкновения. Ведь русская революция спровоцировала не только активность охранительно-реакционных сил Запада, но и цивилизационные архетипы. Она пробудила постоянно в истории тлеющую опасность для Запада, которую знала еще античность, как и последующая история.

Касаясь еще первой мировой войны, Н. Бердяев писал, что одно из ее следствий – более тесное соприкосновение Запада с Востоком («Мировая война вовлекает в мировой круговo-

рот все расы, все части земного шара. Она приводит Восток и Запад в такое близкое соприкосновение, какого не знала еще история» [Бердяев 1990: 119]. Но, конечно, история нечто подобное уже знала. О таком соприкосновении в романе «Война и мир» размышлял еще Л. Толстой. Вот его констатация этого соприкосновения, связанная с Отечественной войной 1812 года. «В 1789 году поднимается брожение в Париже; – пишет он – оно растет, разливается и выражается движением народов с Запада на Восток. Несколько раз движение это направляется на восток, приходит в соприкосновение с противодвижением с востока на запад; в 12-м году оно доходит до своего крайнего предела – Москвы, и, с замечательной симметрией, совершается противодвижение с востока на запад, точно так же, как и в первом движении, увлекая за собой серединные народы. Обратное движение доходит до точки исхода движения на западе – до Парижа, и затихает» [Толстой 1963: 333].

Л. Толстой – это соприкосновение Запада с Востоком представляет лишь под углом зрения российской истории и Отечественной войны 1812 года. Между тем, вся мировая история может быть рассмотрена под углом зрения такого соприкосновения, и Древний Рим в этой истории будет далеко не первым эпизодом. Такое соприкосновение Запада и Востока развертывается на протяжении всей истории человечества. Оно ощущается и по сей день. «Борьба эллинства и Востока, – пишет Г. Федотов, – еще продолжается в нашей современной культуре» [Федотов 1992: 305].

В истории контактов между цивилизациями первая, а затем и вторая мировая война были лишь очередными и более близкими нам событиями. Запад постоянно опасался активности Востока и в поздней истории вызвал к жизни то, что Э. Саид назвал «ориенталистским дискурсом», т. е. мифом, которым Запад наделил Восток как якобы отсталый по сравнению с Западом регион [Хренов 2012]. Таким образом, для России Запад представлял тот самый Вызов с большой буквы, о котором пишет А. Тойнби и который уходит в глубокую историю. В этой истории вторая мировая, как, собственно, и первая мировая война предстает лишь поздними событиями. Собственно, вызов есть следствие столкновения между цивилизациями. В данном случае совсем не следует представлять одну цивилизацию светлой, а другую безнадежно черной. Конечно, светлой цивилизацией нередко предстает Запад, но, как утверждает А. Тойнби, западная цивилизация проявила отнюдь не только свою светлую, но и темную сторону [Тойнби 2003: 214].

Поскольку для Запада Востоком воспринималась и Россия, то, естественно, что идея мировой революции, весьма популярная и пугающая после революции 1917 года и на Западе, не могла не спровоцировать противостояние, что, кстати, было спрогнозировано в XIX веке М. Бакуниным. М. Бакунин пророчил столкновение России и Германии еще в XIX веке. Ф. Достоевский хотя и не делал таких прогнозов, но в «Дневнике писателя» за 1876 год тоже фиксировал самодовольство немцев после победы над французами. Оно начало проявляться, в том числе и по отношению к русским. Так, писатель передавал фразу, услышанную им от дрезденского лавочника. «Вот мы закончили с французами, а теперь примемся и за вас». Ф. Достоевский комментирует это так: «Это почти невольно появившееся ожесточение против русских даже мне показалось тогда удивительным, хотя я всю жизнь мою знал, что немец всегда и везде, еще с самой немецкой слободы в Москве очень-таки не жаловал русского» [Розанов 2008: 272].

Мысль Сталина развертывалась именно в этой бакунинской парадигме. Во время встреч с представителями большого альянса Сталин постоянно пытался привлечь их внимание к послевоенной Германии. Он считал, что эта страна сможет очень быстро возродиться и снова может продемонстрировать агрессию. Но против кого направленную агрессию? Сталин имел в виду Россию и вообще славянские народы, которые и могут стать жертвой этой агрессии [Робертс 2014: 388]. Эта мифологема непримиримости немцев и славян формирова-

лась давно. Ее разделяли, в том числе немецкие историки и политики. Так, А. Дживелегов приводит высказывание Менцеля («В германском принципе заключается что-то такое, чему не может долго противиться принцип славянский») и Трейчке («Все попытки славян освободиться от немецкого господства бесполезны, бессмысленны, тщетны и заранее осуждены историей») [Дживелегов 1915: 32].

Вот почему у Сталина была идея объединения славянских народов, но, естественно, в тех формах, которые виделись вождю наиболее оптимальными. В этом смысле Сталин невольно оказывается продолжателем идеи К. Леонтьева о необходимости объединения славян. Известно, что К. Леонтьев, противопоставляя славизм Западу, утверждал, что славизм является слабым и аморфным образованием. Основой объединения славянского мира должна быть Россия («Для существования славян необходима мощь России» [Леонтьев 1885: 119]. Но саму Россию цементирует, по мнению К. Леонтьева, византийское начало («Для силы России необходим византинизм» [Леонтьев 1885: 119]. Византинизм способен быть дисциплинирующим началом не только русского, но и всего славянского мира.

Именно это обстоятельство диктовало Сталину необходимость искать взаимопонимания с Черчилем и Рузвельтом, а потом после смерти Рузвельта и с Труменом. Не случайно уже в момент переговоров с представителями альянса во время войны он постоянно поднимал вопрос о недопустимости возрождения послевоенной Германии. Однако его союзники не склонны были к пониманию. В их задачи входило именно возрождение Германии и втягивание ее в продолжающееся противостояние коммунистическому режиму, которое после войны стало еще более очевидным. Ради союза с представителями альянса и, соответственно, мира с ведущими странами Сталин даже пожертвовал Коминтерном. Ведь Коминтерн был создан, когда международную политику России определяла идея мировой революции [Робертс 2014: 235]. Сталин отдавал отчет в том, что именно эта идея и отпугивала Запад. Этим актом он давал понять, что не имеет намерений большевизировать страны Восточной Европы.

Собственно, именно этот усилившийся со стороны Запада Вызов и определил послевоенный политический курс Сталина, в котором главным оказалось отсутствие свободы. Запад не мог пойти на сближение со Сталиным. Противостояние цивилизаций продолжалось. Этому противостоянию Западу, что оказалось реальным в XX веке, предшествовала, как утверждает А. Тойнби, многовековая предыстория. До некоторого времени противостояние Западу развертывалось в форме конфликта между греко-римской цивилизацией как предшественницей современного Запада, с одной стороны, и Востоком, с другой. В последние столетия роль Востока в противостоянии Западу играла Россия. С эпохи Петра I «России удалось не поддаться Западу, взять на вооружение западные же методы и способы борьбы, в частности, мировоззрение, восприняв которое Россия перешла от обороны к контрнаступлению, что сегодня вызывает огромное беспокойство у нас на Западе» [Тойнби 2003: 443].

Разумеется, с момента возникновения второй мировой войны, да даже еще и с момента первой мировой войны старые страхи не могли не актуализироваться. Противостояние России хотя бы и в форме несопротивления западных стран Третьему Рейху, почему, собственно, так долго не открывался и второй фронт, было очередной акцией, которую должен был предпринять Запад, чтобы противостоять Востоку, предстающему на этот раз в форме большевизма. Так что истоки будущего столкновения находятся в древности и, соответственно, время от времени этот комплекс в подсознании западного человека активизируется. Россия означала Восток, а Востоку следовало противостоять, чтобы не вернуться в безличную стихию, из которой Запад еще в эпоху античности вышел.

В связи с прогнозом по поводу будущего и неизбежного столкновения России и Запада, что получает отражение в сознании Сталина, нельзя забывать М. Бакунина. Но у него этот

прогноз будущего столкновения предполагал и конкретного антагониста или врага. Противостояние России с Западом сведется, как он доказывал, к противостоянию с Германией, ибо этой стране присущ культ государственности, культ Фридриха Второго как последователя Макиавелли. Столкновение неизбежно, ибо, по мысли М. Бакунина, славянский народ – народ негосударственный, а, еще точнее, анархический. По мысли М. Бакунина, славянам присуща ненависть к государству и стремление к вольно-общинному крестьянскому миру. В ментальности славян имеет место стремление «к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств» [Бакунин 1989: 338].

Собственно, позднее на это несходство русских и немцев в их отношении к государству обратит внимание В. Розанов. «Мы, русские, – пишет он, – все общество наше, вся масса общества, уж слишком не государственны… Не спорю, за немцами «по государственности» нам не угнаться» [Розанов 2008: 272]. Народ же государственник, а именно, таким в истории предстает Германия, ставящий своей целью распространить имперские амбиции на весь мир, неизбежно должен столкнуться с народом – анархистом.

Собственно, когда М. Бакунин такие выводы делает, то он под ментальностью немцев имеет в виду лишь психологию немцев, которая сформировалась с момента объединения Германии, ведь эта страна еще и в конце XVIII века существовала в форме обособленных вольных городов, графств и княжеств, которых можно насчитывать десятками. Но уже в XIX веке после объединения Германия начала культивировать в себе прусский военный дух. Вся эпоха Гогенцоллернов, выражением которой явился воинственный Бисмарк, демонстрирует милитаристские установки. В соответствии с этими установками изменяется и ментальность немцев. Пытаясь ответить на этот вопрос в годы первой мировой войны, когда возникло столкновение России и Германии, А. Дживелегов писал: «Почему высокая культурность оказалась маской, из-под которой глядит теперь на всех, оскаля зубы, чуть не первобытное варварство? Куда девались Вертер и люди цветка, романтики не от мира сего? Откуда эта вакханалия трезвенного мещанства?» [Дживелегов 1915: 1]. Еще в XVIII и в начале XIX веков немцы оплакивали свою горькую долю, но чем сильнее им прививали прусский дух, тем очевидней развертывалось изменение их ментальных комплексов.

Однако, когда читаешь «Речи к немецкой нации» И. Фихте, то в них уже ощущаешь, что немецкая национальная идея, не уступающая русской национальной идее, уже оформилась. Исходя из программы пересоздания человечества, которая провозглашалась в эпоху модерна, И. Фихте в немцах усматривал именно тот авангард, с которого начнется это пересоздание. Предназначение человеческого рода по И. Фихте заключается в том, чтобы сделать себя тем, чем этот род является изначально. Такое самосозидание должно начаться первоначально в каком-то конкретном народе и в определенное время. Что касается времени, то это, конечно, эпоха модерна, с которой просветители связывали высоту человеческого духа. Что же касается пространства, то И. Фихте прямо утверждает, что самосозидание начнется с немцев и при их участии распространяется на все человечество. Иначе говоря, судьбы человечества поставлены в зависимость от немцев. «В отношении же пространства мы полагаем, – пишет он, – что немцам, прежде всех прочих, следует вменить в обязанность начать собою новое время, предвосхищая и преобразуя его собою для всех прочих народов» [Фихте 2008: 59].

Когда эта мысль излагается на философском языке, то она вполне приемлема. Приемлема настолько, насколько напоминает суждения славянофилов, возлагающих большие надежды уже на русский народ. Но ведь это философское откровение И. Фихте может получить имперскую основу реализации, и тогда может начаться перерождение идеи модерна. Но это и случится. Вот как А. Дживелегов изображает перерождение немецкой идеи под воздействием имперского комплекса. «Ему (немцу – Н. Х.), наученному покорно выносить все, да-

ли почувствовать собственную силу: он стал наглым. Его, привыкшего постоянно терпеть поношения, сделали победителем: он проникся высокомерием. Его, еще недавно преклонявшегося перед культурой Франции, с триумфом провели через побежденную страну: он преисполнился верою в немецкий гений и в звезду Германии» [Дживелегов 1915: 58].

Однако вот что интересно. Под имперским мессианизмом и немецкой национальной идеей пряталась ставшая к началу XX века универсальной душа мещанина. А. Дживелегов справедливо констатировал, что с конца XVIII века бюргерство искало поддержки не снизу, а сверху, т. е. со стороны бюрократии, власти. Следовательно, оно оказывалось зависимым от власти, а она все больше милитаризировалась. Но невозможно представить, что, в свою очередь, бюргерство не воздействовало на власть. Так, В. Розанов проницательно улавливает мещанскую подкладку немецкого имперского мессианизма. Он ее усматривает и в первой мировой войне. Определяя мессианизм как стремление некоторых народов занять первое место среди других народов и вести их за собой, В. Розанов видит в первой мировой войне проявление именно этого немецкого комплекса.

Но почему же немцы возомнили себя первыми? Почему еще в XVIII веке поверили И. Фихте? Идеалы И. Фихте в XIX веке материализовались в мещанском духе, в способности немцев лучше других производить качественные вещи и уметь предъявлять их на международных рынках. В качестве примера философ указывает на более совершенное производство пошлых зубных щеток. У В. Розанова зубные щетки предстают символом индустриального мира, того, что мы сегодня называем обществом потребления. Признание качественности этих щеток вселило в немцах уверенность, что они лучшие и передовые и способны вести за собой другие народы («Германия решительно и деловым образом потребовала себе первенства во всемирной цивилизации, сорок лет подготовляясь к войне и начав войну с потерей миллионов людей и убивая миллионы людей у соседних народов во имя того, что никто так не умеет выделывать зубных щеточек, как «германский человек» [Розанов 2008: 245]. Возникшая в результате успехов в промышленности уверенность в первенстве трансформируется в политические имперские амбиции («Война, как обнаружилось решительно и окончательно, ведется за техническое, коммерческое и промышленное подавление Германией всего света. Но как «предпосылка» техники и промышленности – политическое преобладание Германии во всем свете» [Розанов 2008: 246].

Но следует принять во внимание и то, что когда И. Фихте возлагает на немцев огромную ответственность по пересозданию и перевоспитанию не только самих немцев, но и всего человечества, то он в качестве такого народа – авангарда славян явно не видит, чего и не скрывает. Формулируя смысл миссии немцев, заключающейся в том, чтобы «соединить общественный порядок, созданный в древней Европе, с сохраненной в Азии истинной религией, и таким образом развить в себе и из себя самих новое время, противоположное погибшей древности» [Фихте 2008: 65], И. Фихте говорит, что другие нации новой Европы (например, народы славянского происхождения) еще не получили, кажется, столь ясного развития, сравнительно с остальною Европой, чтобы возможно было определенно обрисовать их основные черты, а, следовательно, по этой причине претендовать на столь значимую роль в истории они не могут. А они, между тем, все же претендовали.

Конечно, у И. Фихте еще не было дифирамба во славу империи. Но зато он разделял идею объединения многих немецких княжеств, хотя в этом объединении и имелась своя уязвимость. Ведь, объединившись, немцы быстро возродили имперский комплекс. Философия и искусство Германии расцветало, пока в ней не распространился прусский дух. Для Германии Пруссия, что Македония для Древней Греции. Эту параллель между Германией XVIII века и древней Грецией провел В. Розанов. Германия XVIII века не была единой. Была южная Германия, имевшая сходство с Афинами, и была северная Германия, похожая на

Спарту. «Есть Германия южная и северная: и северная поистине отвратительна, черства, суха, формальна и «упившимся пивом» (не виноградным соком). Около поэтической и музыкальной южной Германии, провинциальной Германии она играет ту же «объединительную и опошляющую и варваризуемую роль, какую около Аттики, Афин, Коринфа, Аргоса, Ахайи играла жесткая и грубая Македония. Вильгельм I – параллель Филиппу Македонскому, а Вильгельм II пытается сыграть роль Александра Македонского» [Розанов 2008: 387]. Когда в Германии стал распространяться дух Пруссии, угасали остатки романтизма, забывались Гете, Шиллер и Бетховен («Германия рубила сук, на котором сидела, – рубила родники и источники того духовного света, за который ее благодарило и за который ее почитало человечество» [Розанов 2008: 387].

В утверждении М. Бакунина, согласно которому русский народ является народом-анархистом, следовало бы усомниться. Русский народ даже в большей степени в истории, а, тем более, в истории XX века предстает народом-государственником, хотя, как мы показали, это и не исчерпывает его ментальности. Он предстает таким именно потому, что когда-то поверил в то, что от его активности зависит и свобода других народов. Но, оказывается, когда русских наделяют образом народа-анархиста, то, видимо, в этом случае руководствуются, прежде всего, памятью о русской революции 1917 года. Но этот опыт явно не исчерпывает всех признаков ментальности русских. Таким образом, как мы убеждаемся, военная катастрофа разбередила старые раны, вернула к страху Запада, имеющему место еще в далеком Средневековье в результате необходимости сохранить свою самостоятельность и не возвращаться к Востоку, чтобы снова раствориться в той стихии, из которой он когда-то вышел. Вот почему эта война была для всего Запада столь значимым событием.

Может быть, именно этим объясняется тот факт, почему западные народы хотя и не оказывали Гитлеру сопротивления, тем не менее, делали это не столь решительно, как это могло бы быть. Ведь для некоторых из них Сталин выглядел не меньшей опасностью, чем Гитлер. Распространяющаяся под воздействием русской революции идея мировой революции воспринималась восточной ересью, угрожающей стабильности Запада как уникальной цивилизации, транслирующей свои ценности во всем мире. Сталин знал о предстоящей войне и готовился выиграть победу не только в соперничестве за власть в среде выдающихся представителей партии, но и в международном масштабе. На этот раз ему предстояло проявить интерес к Западу, который дотоле у него отсутствовал и просчитывать все детали применительно к ведущим политикам Запада так, как он это делал, имея в виду своих соратников по партии. На этот раз ему предстояло переиграть уже не только Бухарина, Каменева, Зиновьева или Троцкого, но Черчилля, Рузвельта, Трумэна, а самое главное – Гитлера. Кстати, по свидетельству Геббельса, приводимому Д. Робертсом в своей книге, Гитлер считал, что Черчилля и Рузвельта следовало бы повесить, но, что касается Сталина, то, в отличие от Черчилля, произносящего умные речи в парламенте и написавшего несколько книг, он «реорганизовал страну в 170 миллионов человек и подготовил ее к масштабному вооруженному конфликту» [Робертс 2014: 523].

Подробно описанная Д. Робертсом деятельность Сталина в годы войны свидетельствует, какой напряженной и разносторонней эта деятельность была. Сталин вынужден был просчитывать все возможные варианты реакций в разных западных странах на каждый свой шаг, который не свидетельствовал лишь о его личном поведении. Поступки Сталина означали курс государства, с которым вынуждены были считаться все страны, не важно, разделяли или не разделяли они идеологические установки Советского Союза. Уже когда война с Германией закончилась, Сталину предстояло вооруженное противодействие с Японией. Он также должен был разрешить многие проблемы, неразрешенные с момента окончания русско-японской войны 1904–1905 годов. Известно, что Япония имела серьезные притязания на

часть российской территории и в любой момент могла напасть на Советский Союз, в том числе и во время войны с Германией. Сталин был весьма острожен и все делал, чтобы отношения с Японией не обострялись. Вступить в войну с Японией он мог бы и раньше, если бы не игра, которую он вел с Черчиллем и Рузвельтом, медлившими с открытием второго фронта. Медлили они, медлил и Сталин. Между тем, и Черчилль, и Рузвельт подталкивали Сталина к войне с Японией. Если бы Сталин вступил в эту войну раньше, сокрушительного нападения японцев на Перл-Харбор могло бы и не произойти. Сталин оттягивал столкновение с Японией, хотя союзники оказывали на него давление. Поскольку он это обещал еще в Тегеране, то должен был свое слово сдержать. Но, даже действуя под давлением союзников, он предъявлял Америке свои условия, в том числе и возвращение к России Курил. Описывая деятельность Сталина, связанную с планами и подготовкой войны с Японией, Д. Робертс выражает изумление тем, насколько глобально мыслил Сталин [Робертс 2014: 399], ведь он предсказывал возрождение разгромленной в предстоящей войне Японии, а также возможные последствия этого возрождения, как он ранее предсказывал быстрое возрождение Германии после второй мировой войны, в связи с чем он пытался убедить союзников в необходимости расчленения Германии.

Оказываясь игроком уже в мировом масштабе, Сталин не выпускал из рук и всего того, что происходило и должно было происходить внутри страны. Об этом, например, свидетельствует контроль Сталина над искусством, к которому, как свидетельствуют многие факты, он подходил с утилитарной, т. е. политической точки зрения, стремясь каждое произведение использовать как своего рода послание, высказывание, дающее возможность увидеть в нем нечто большее, чем просто художественный смысл, а именно, пропаганду значимости возведенного им государства. С этой точки зрения значительный интерес представляют мемуары К. Симонова.

Например, заслуживают внимания суждения писателя по поводу использования для пропаганды своих идей художественных произведений на историческую тему. К истории Сталин относился как к предыстории своей деятельности по возведению мощного государства в византийском духе, претендующего на одно из первых мест в мировой истории. Естественно, что архетип третьего Рима определял установки Сталина, так как (и это отмечает К. Симонов) вышедшие перед второй мировой войной исторические романы «Чингис – хан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина давали возможность высказаться о современности, как ее понимал вождь. «Роман «Чингис-хан» предупреждал о том, – пишет К. Симонов, – что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобежденными. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что ждет побежденных, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории» [Симонов 1990: 161]. Естественно, что в 1942 году эти романы получили Государственную премию.

О том, как, помимо воли художника и заложенного в его произведении смысла, в него может вкладываться дополнительный смысл, а произведение способно наделяться пропагандистским смыслом, свидетельствует история с романом Степанова «Порт-Артур», который вышел в начале войны, но государственной награды своевременно не получил, а получил ее лишь после войны. Роман все же был Сталиным замечен. Но, по его мнению, в начале войны, когда советская армия несла потери, когда Сталинградской битвы, ставшей поворотным пунктом в войне, еще не произошло, роман о поражении русских войск не имел мобилизующего значения. В 1946 году с помощью этого романа внедрялась мысль о том, что, несмотря на поражения, в конечном счете победа оставалась за Россией, и результаты второй мировой

войны и, в частности, разгром Японии свидетельствовали, что некогда в истории неразрешенный вопрос, наконец-то, разрешился. «А в сорок шестом Сталин счел, – пишет К. Симонов, – что эта книга нужнее как нечто крайне современное, напоминание о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы» [Симонов 1990: 162].

Во время второй мировой войны география поединка, в котором Сталин стал играть одну из определяющих ролей, необычайно расширилась. Да, мировая революция не получилась, но и делать вид, что перманентного противостояния между Россией и Западом тоже не существует, невозможно. Как бы то там ни было, но русская революция 1917 года была грандиозным событием, если его оценивать с точки зрения противостояния Запада и Востока. На протяжении всей истории это противостояние развертывалось то в пользу Запада, то в пользу Востока. Например, когда-то вестернизации предшествовала византинизация мира. Византия, как символ Востока, определяла судьбы мира, называя себя вторым Римом. Однако ее распад в XV веке, несомненно, был победой Запада.

Этот процесс противостояния был подхвачен Римом третьим, т. е. Россией. Даже когда Россия демонстрировала себя прилежной ученицей Запада (а это произошло с реформ Петра 1), все равно этот комплекс противопоставления оставался реальным. Это не удивительно. «Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, – писал К. Леонтьев, – проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [Леонтьев 1885: 100]. Очевидно, что революция 1917 года тоже свидетельствовала об активизации этого комплекса. Россия и сама демонстрировала невключенность в Запад и с помощью революции утверждала такую возможность для других народов. Но для дерзких и неподдающихся история уготовила и свою судьбу.

Самостоятельность России дорого стоит. Выводя из подсознания Запада снова многовековой страх перед Востоком, чему способствовала русская революция с ее идеей мировой революции, Россия невольно провоцировала мировые войны XX века, в основе которых было стремление Запада подавить Россию, подвести ее к смирению и, в конечном счете, растворить ее в западной цивилизации. Это стремление Запада уходит глубоко в историю. Ведь, как известно, римский папа еще в средние века готовил против православия крестовый поход. Л. Гумилев, например, пишет: «Ее (Руси – Н. Х.) ожидала судьба Византии, захваченной в 1204 году крестоносцами и разграбленной до нитки. Организованные рыцарские армии, с латной конницей и арбалетчиками, настолько превосходили разграбленные дружины русских князей, что выиграть можно было одну другую битву, но не длительную войну» [Гумилев 1992: 615].

Конечно, в разное время эта цель достигалась разными и отнюдь не военными способами, но XX век продемонстрировал, что возможны и такие средства, как истребительные войны. Совершенно очевидно, что во второй мировой войне победила Россия. Но эта победа произошла опять же не без участия самого Запада. Ведь победа России явно не снимала окончательно вопроса о противостоянии Запада и Востока. В конце концов, во время второй мировой войны Запад подыграл России и не мог этого не делать, поскольку победа Гитлера означала возникновение мировой империи под властью немцев и лишение всех тех либеральных ценностей, которые в последние столетия культивировал Запад. Такая перспектива толкала западные народы на солидарность с Россией. Но это была вынужденная солидарность, подстегиваемая страхом перед распространяющим свое влияние Гитлером.

Таким образом, общественное мнение Запада постепенно складывалось в пользу России. Но это совсем не означает, что отныне Россия, оказываясь спасителем народов, становится этим народам более близкой. Проблема противостояния Запада и Востока продолжает быть актуальной. Она была актуальной до второй мировой войны. Она оставалась актуальной и после ее окончания. Более того, развертывающийся к концу XX века распад Советского Союза и отделение от него народов, ранее в него входивших, происходит не без вмешательства Запада. Это отделение происходит тоже как противостояние России, а, следовательно, воспринимается в более широком геополитическом контексте, т. е. в контексте противостояния Запада и Востока. Чтобы там не утверждал Ф. Фукуяма о конце истории, этот конец еще не наступил. Нельзя недооценивать значение русской революции 1917 года, но невозможно ее и переоценивать. Эта революция – очередное обострение отношений между Западом и Востоком, в какие бы политические и идеологические теории эти отношения ни упаковывались.

6. «Творческий ответ» Сталина на Вызов истории как реабилитация византийской традиции

Разумеется, часто используемая аналогия между русской революцией 1917 года и процессами Французской революции кое-что объясняет, но далеко не все. Может быть, то, что произошло на рубеже 20–30-х годов, трудно осмыслить не только в понятиях истории революции, но и в понятиях политической истории. Хотя, конечно, в эпоху Ленина и Сталина все осмыслялось исключительно с помощью политической терминологии, т. е. той терминологии, что впервые появилась в сочинениях деятелей эпохи Просвещения. Так осмыслял развертывающиеся процессы, уже не стихийные, а регулируемые, и сам Сталин. Многое свидетельствует о том, что, сосредоточив в своих руках власть и опираясь на весь мощный бюрократический аппарат, Сталин отныне сам задает логику исторического развития созданной им бюрократической системы, подчинившей себе поведение массы.

Но в данном случае следовало бы задать вопрос: осознавал ли Сталин все, что происходило в истории в эпоху, когда, казалось, что ничего не могло происходить такого, чего бы не мог программировать вождь? Тем не менее, кроме осознаваемых в истории процессов всегда существовали и продолжают существовать и процессы бессознательные, т. е. неосознаваемые теми людьми, которым кажется, что они полностью контролируют все происходящее. В данном случае невозможно не вспомнить суждение Гегеля. «… Во всемирной истории благодаря действиям людей вообще получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они желают; они добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не входило в их намерения» [Гегель 1993: 79].

Иначе говоря, ставя какую-то задачу, которая, как кажется, способна реализовать самую благую идею, просветить и облагородить человечество, какой-то народ, используя неверные средства, способен нанести вред не только себе, но и человечеству, что постоянно в истории и происходит. Ведь для того, чтобы реализовать идею добра, справедливости и братства, русские должны быть не только нравственно способными к этой акции, но быть сильными. Но чтобы быть сильными, необходимо вызвать к жизни мощное государство, словно следуя тому же Гегелю, связавшему свободу с государством. Это государство оказывается империей, а каждая империя, возникнув, стремится распространить свое влияние на весь мир. Такова уж природа империи. Но, чтобы распространиться в мировом пространстве, империя должна милитаризоваться. На этой основе возникает культ силы. А там, где сила, там и язычество. Чем больше язычества, тем быстрее угасают те нравственные ценности, что

принесло с собой христианство. Именно это усиление языческого начала на Руси усматривал В. Соловьев в связи с укреплением Иваном Грозным государственности [Соловьев 1989: 572]. Со временем под воздействием имперского комплекса развертывается перерождение. Ничего другого, кроме подавления других народов, этот уверовавший в себя народ дать уже оказывается неспособным. Мечта оказывается нереализованной, да и несостоявшейся. Это произошло в XX веке с Россией. Это в XXI веке происходит с Америкой.

Хотелось бы осознать то, что не осознавалось теми, кто пытался определить логику политической истории, вмешиваясь в исторический процесс и пытаясь радикально ее изменить. Деятельность Сталина Л. Троцкий связывает с созданием бюрократического аппарата, который, собственно, и явился результатом перерождения революции. Но что означает создание бюрократического аппарата? Усиление бюрократии является свидетельством укрепления мощи государства. Сталин реабилитирует государственность и на развалинах царской империи возводит новую империю, хотя так ее и не называя. Эта империя оказалась в изоляции, когда во всем мире империи разрушались.

Но что означает возвращение к империи? Возвращение к империи и реальность тоталитарного государства означает одно и то же. Тоталитаризм означает жесткую регламентацию всего, что существует в государстве вплоть до личной жизни людей. Хотя не каждая империя предполагает столь жесткую регламентацию, в случае со Сталиным дело обстоит именно так. Во многих исследованиях, касающихся сталинского курса, констатируется реальность тоталитаризма, связанная с курсом Сталина. Такое ощущение, что, указывая на тоталитаризм, исследователь исчерпывает все аргументы. Но почему возникает тоталитаризм? Что за ним стоит? Является ли эта политическая система новой формой государства или же она имеет прецеденты в истории?

Ставя вопрос именно так, мы уже вводим рассмотрение вопроса в пространство истории, понимаемой как история и культуры, и цивилизации. В данном случае мы следуем методологии изучения истории, используемой А. Тойнби. Именно А. Тойнби развел историю государства и историю цивилизации, которую следует понимать шире, ибо в нее могут входить несколько государств, как это демонстрирует, например, Запад. Сам А. Тойнби историю рассматривает в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, ведь государство представляет «эфемерный политический феномен в жизни цивилизаций, в лоне которых они появляются и исчезают» [Тойнби 2003: 407].

Собственно, сталинская тоталитарная система – вовсе не новая политическая конструкция, а дань и политической, и культурной традиции, сформировавшейся еще в глубокой истории в ту эпоху, когда русские многое заимствовали в Византии. Следовательно, вопрос о генезисе тоталитаризма в России – это вопрос не только курса Сталина, но истории и судьбы российской цивилизации. Оценки деятельности Сталина должны исходить из того, что им сделано такого, что позволило продлить жизнь России как особой цивилизации, независимо от того, осознавал это вождь или не осознавал.

Как уже отмечалось ранее, противостояние России и Запада имеет глубокие исторические корни. Заимствуя многое у Византии, Россия включалась в то противостояние, которое связано с противостоянием Запада и Византии. Но применительно к обсуждаемой теме – теме отношений между Россией и Германией, что стало главным во второй мировой войну, это противостояние тоже многое объясняет. Ведь еще Н. Данилевский одним из первых пытался осознать ту причину неприязни Германии к России, которая вытекала из византийских корней России. Об этом очень точно писал К. Леонтьев. «Византинизм, – писал он, – организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым в начале, славянским матери-

алом. Изменяя даже в тайных помыслах наших этому византинизму, мы погубим Россию» [Леонтьев 1885: 104].

Конфликт, который получил во время второй мировой войны выражение в столкновении России и Германии, уходит глубоко в историю, в отношения между Римом первым и Римом вторым, т. е. Византией. Когда эти великие цивилизации угасли, их противостояние передалось более молодым народам. Эту расстановку сил в истории Н. Данилевский представляет так: «Но и Рим, и Византия уже изжили свои творческие силы и должны были передать свое наследие новым народам. Наследниками Рима явились германцы, наследниками Византии – славяне; и в этих народах должна была ожить вековая борьба, которая велась всяким оружием между Грецией и Римом» [Данилевский 1991: 308].

Ставя вопрос о взаимоотношениях между цивилизациями, А. Тойнби решительно относит Россию не к западной, а именно к византийской цивилизации, доказывая, что некогда усвоенные византийские формы продолжают быть активными. «Почти тысячу лет русские… принадлежали не к нашей западной цивилизации, – пишет он, – но к Византии – сестринскому обществу того же Греко-римского происхождения, но, тем не менее, совершенно другой цивилизации. Российские члены византийской семьи всегда резко противились любой угрозе попасть под влияние западного мира и продолжают противиться по сей день. Чтобы обезопасить себя от завоевания и насильственной ассимиляции со стороны Запада, они постоянно заставляют себя овладеть достижениями западной технологии. Этот tour de force (рывок) был совершен, по крайней мере, дважды в русской истории: первый раз Петром Великим, второй – большевиками» [Тойнби 2003: 370].

Некогда сделанный русскими выбор в пользу Византии продолжает определять ориентации России и по сей день. Именно эта, как выражается А. Тойнби, «упрямая приверженность византийской цивилизации и породила в истории «враждебное отношение Запада» к России [Тойнби 2003: 372], что не могло не проявиться и в войнах XX века. Собственно, именно это отношение Запада к России и представляет Вызов. А. Тойнби еще более точно расшифровывает смысл Запада как вызова по отношению к России. Соответственно, усвоение византийской традиции как в ее политическом, так в религиозном и культурном преломлении навсегда определило и отношение России к Западу. «Узурпируя таким образом, сознательно и намеренно, византийское наследие, – пишет А. Тойнби, – русские вместе со всем прочим восприняли и традиционное византийское отношение к Западу, что оказывало глубочайшее влияние на собственно российское отношение к Западу не только до революции 1917 года, но и после нее» [Тойнби 2003: 373].

Спрашивается, а причем тут византинизм, когда Сталин исходил, прежде всего, из марксизма как доктрины, рожденной вовсе не византийской, а именно западной цивилизацией? Но в том-то все и дело, что, возникнув на Западе, марксизм, как система радикальных идей, меньше всего оказался реализованным на Западе в жизни. Будучи усвоенной русскими и, прежде всего, русскими радикалами, эта система здесь претерпела трансформацию. Она здесь реализуется в контексте и в формах византийской традиции. Собственно, так ведь и должно было быть. Ни одна цивилизация, заимствуя опыт другой цивилизации, не использует этот опыт в его чистой форме, т. е. в форме, присущей другой цивилизации. Чтобы этот опыт прививался, он должен был быть переведен на язык культуры, усваивающей чужой опыт. Поэтому история революции, как и политическая история в России, принимает византийский вид и предстает уже как порождение византийской цивилизации. В конце XVIII – начале XIX веков такой поворот дела был потенциальным, и реабилитация византийской традиции в ставшей после Петра I прозападной России развертывалась в частных сферах (например, об этом свидетельствовала реабилитация старчества и т. д.). Так, касаясь деятельности святых отцов – святителя Тихона и старца Паисия, Г. Флоровский говорит о восста-

новлении лучших заветов византийского монашества, и возвращении в XV век, в исихазм («Это было возвратное движение русского духа к византийским отцам» [Флоровский 1991: 126].

В начале XX века марксизм этому принципу придал реальные формы. Чтобы выйти из ценностных ориентаций западной цивилизации, в соответствии с которыми Россия развивалась с Петра, нужно было опереться на какую-то уже существовавшую в истории основу. Ею и стала византийская традиция. Но в романтическую эпоху революции этот процесс еще не был очевидным. По-настоящему византийская традиция стала судьбой России в момент, когда власть сосредотачивается в руках Сталина, а, еще точнее, в экстремальной ситуации, какой и явилась вторая мировая война. Следовательно, империя в ее новой – сталинской редакции – это реабилитация византийской традиции, которая была так упакована в марксистскую терминологию, что, казалось, ни о какой активности этой исторической традиции не могло быть и речи. Тем не менее, это именно так. А, как известно, византийская традиция в ее государственной форме известна как второй Рим.

Но если Сталин реабилитирует византийскую традицию, то было бы уместным назвать возводимую Сталиным вертикаль власти – новым «третьим Римом». Нет, не случайно некоторыми Сталин воспринимался в образе первого архитектора третьего Рима – Ивана Грозного. Так, даже работавшая в Кремле кухарка эстонского происхождения однажды, как утверждает Л. Троцкий, сказала о Сталине: «Ходит по Кремлю насупленный, как Иван Грозный» [Троцкий 1990: 175]. Эта аналогия, возникающая в массовом сознании, подхватывалась и самим Сталиным. Он тоже улавливал параллель с тем, что он внедряет, что создает византийской традицией. Поэтому он и сам бы хотел, чтобы его образ воспринимался в соответствии со средневековым русским царем. Поэтому он и стал инициатором постановки фильма об Иване Грозном.

Ничто так не позволяет уяснить эту тенденцию как искусство. Разумеется, ни в одной стенограмме какого-либо партийного съезда невозможно обнаружить ориентацию на Византию в ее осознанной форме. Византийский комплекс русских – это загнанный в подсознание комплекс. Но искусство как раз и призвано извлекать из подсознания такие неосознаваемые комплексы, делая их явными. Именно это и произошло с фильмом С. Эйзенштейна «Иван Грозный». Утверждение идеологии третьего Рима Иваном Грозным с XVI веке оказывается иносказанием того, что в реальной истории происходило в России.

Но фигура русского средневекового царя появилась в эту эпоху также и в литературе. Так, государственную премию получил и роман Костылева об Иване Грозном. Это произошло уже после войны. Комментируя этот факт, К. Симонов говорит о современном его звучании, о перекличке имен. «Иван IV вчерне завершил двухвековое объединение Руси вокруг Москвы, – пишет К. Симонов. – Видимо, у Сталина именно в те годы могло быть схожее представление о собственной роли в истории России – и на Западе, и на Востоке было возвращено все, ранее отнятое, и все, ранее отданное, и вдобавок была решена и задача целых столетий о соединении Восточной и Западной Украины, включая даже Буковину и Закарпатье» [Симонов 1990: 162]. К. Симонов не исключает того, что для Сталина образ Ивана Грозного явился средством исторического самооправдания и самоутверждения. «Для него (Сталина – Н. Х.) Грозный был безоговорочно прав, – пишет К. Симонов, – и этой правотою его и удовлетворяла, может быть, гениальная в своих художественных частностях и находках, но исторически безнравственная первая серия эйзенштейновского «Ивана Грозного» [Симонов 1990: 163]. Следует отдать должное С. Эйзенштейну, который, погрузившись в атмосферу XVI века, представил это не столько иллюстрацией некогда случившихся событий, а как трагедию, что и привело к запрету этого фильма. Задумываясь о причинах запрета этого фильма, К. Симонов предполагает следующее: «По-моему, вторая серия попала к Сталину в такое

время, когда интерес его к аналогиям с Грозным ослабел, это стало не очень актуальным для него – может быть, временно» [Симонов 1990: 164].

Разумеется, лишь возрождение византийской традиции уже возвращает Россию к оппозиции с Западом, поскольку Византия всегда была альтернативой Западу, который, собственно, во многом, во всяком случае, не в меньшей мере, чем мусульманский мир, способствовал закату византийской империи. Стало быть, реабилитация идеи третьего Рима автоматически приводит к противостоянию с Западом, а это противостояние, как это утверждает А. Тойнби, характерно для всей российской истории. Оно не стало менее заметным даже со времен Петра I. В отличие от Ленина и Троцкого, Сталин с самого начала не переоценивал значение идеи мировой революции, как и многое другое. Так, касаясь Брест-Литовского кризиса в 1918 году, Л. Троцкий пишет: «Но по существу международная революция в те дни, как и значительно позже, оставались для него (Сталина – Н. Х.) безжизненной формулой, с которой ему нечего было делать в практической политике» [Троцкий 1990: 24].

Судя по всему, Сталин не был западником и скептически относился к тем революционерам, которые набирались ума, находясь в эмиграции, не исключая и Ленина («Идеи Ленина кажутся ему эмигрантской фантазией» [Троцкий 1990: 271]. Негативное отношение к Западу проявилось и в непонимании, как отмечет Л. Троцкий, Сталиным сути тех революций, что происходили в западных странах. Боле того, Л. Троцкий даже утверждает, что революционер Сталин вообще не понимал сути революций, в том числе, и Октябрьской, активным участником которой, как он сам себя позднее будет подавать, он являлся. «Не вынужденный продумывать задачи революции с тем напряжением мысли, какое создается только чувством непосредственной ответственности, Сталин так и не понял до конца внутренней логики Октябрьского переворота. Оттого так эмпиричны, разрозненны и несогласованны его воспоминания, так противоречивы его позднейшие суждения о стратегии восстания, так чудовищны его ошибки в отношении ряда позднейших революций (Германия, Китай, Испания). Поистине, революция не есть стихия этого бывшего «профессионального революционера» [Троцкий 1990: 323].

Л. Троцкий, как выразитель романтических революционных идей и настроений, никак не находит места Сталину ни в истории революции, ни в политической истории. Но история распорядилась иначе. Место все же нашлось. Сталин вписал себя в историю, но только понимать эту историю следует гораздо шире, чем только как история революции или даже политическая история. Российскую историю Сталин возвращал в прежнюю колею, в ту колею, которая некогда обозначилась еще в момент ассимиляции политических и религиозных традиций Византии. Иначе говоря, деятельность Сталина следует рассматривать в больших длительностях истории как истории цивилизации. В этом возвращении к византийской традиции история проявляется уже не только с политической, а с культурной и с цивилизационной стороны.

Отдавал ли отчет Л. Троцкий, который еще в 1924 году знал, что Сталин будет диктатором [Троцкий 1990: 166], что Сталин возрождает именно византийскую традицию и что в этом его сила? Да, Л. Троцкий это знал, хотя и не придавал значения, как всякий политический авангардист и пропагандист идей модерна, традициям. «Честолюбие Сталина, – пишет Л. Троцкий, – приняло некультурные, азиатские формы, помноженные на европейскую технику. Ему нужно, чтоб печать каждый день отпечатывала его портреты, говорила о нем, печатала его имя жирным шрифтом, причем даже чиновники телеграфа знают, что нельзя принимать на имя Сталина телеграмм, в которых он не называется отцом народов или великим и гениальным учителем. Роман, опера, кинематограф, скульптура, сельскохозяйственная выставка – все это должно вращаться вокруг Сталина, как вокруг оси. Литература и искусство

сталинской эпохи войдут навсегда в историю как образцы непревзойденного византизма» [Троцкий 1990: 205].

Эту мысль о византийских установках Л. Троцкий еще раз повторит в том месте своей книги, в котором он говорит об уничтожении не только старой гвардии большевиков, хорошо его знавших, но и преданных ему какое-то время людей. «По мере того, как прежде в пропаганде, в печати, в школах поднималась волна отвратительного византийства, Сталин никак не мог терпеть на ответственных административных постах людей, которые знали правду и которые сознательно говорили ложь в качестве доказательства своей верности вождю» [Троцкий 1990: 264].

С этой точки зрения интересны опять-таки наблюдения К. Симонова над тем, как переписывается не только российская история, понимаемая Сталиным как предыстория к деятельности его как государственного деятеля, но и история революции, в которой Сталин задним числом должен был занять то место, которое он в реальности никогда не занимал. В связи с этим Сталин в истории революции выдвигал на первые места одних политических и военных деятелей и делал неизвестными других, подчас тех, кто как раз в революции играл главную роль. Так, например, Сталин поддерживал фильм «Чапаев» и стал инициатором фильма о Щорсе. Задумываясь о причинах такого отбора, К. Симонов пишет: «И Чапаев, и Щорс были подлинными героями гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно, фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев» и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие командующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточными фронтами, были предназначены к исчезновению из истории гражданской войны – не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории» [Симонов 1990: 160].

Конечно, актуализация византийской традиции предполагает и соответствующее отношение к Западу. Когда выяснилось, что большой альянс, созданный в годы второй мировой войны, после ее окончания сохранить не удается и стало очевидным, что Америка стремится лидировать в мире и диктовать свой императив, Сталин, который делал столько усилий по обеспечению равновесия и утверждению роли СССР в деле мира, переключился на создание и укрепление советского блока в странах Восточной Европы. Его план сохранения и развития демократизации в этих странах сменился жесткой советизацией. Соответственно, изменился и курс во внутренней политике. Во время переговоров Сталина с деятелями Запада в ходе войны становилось ясно, что между Россией и Западом возникает взаимопонимание, что обещало хорошую перспективу на будущее. Русские люди чувствовали благодарность Запада за совершенный ими подвиг во время войны. Россия предстала перед народами мира с лучшей стороны. Правда, никто не думал о том, ценой каких жертв, в том числе и ограничения свободы, был этот подвиг совершен.

Казалось, повторилось то, что уже было реальным в годы первой мировой войны, когда Россия вынуждена была выступить против германизма, против немецкой национальной идеи, убежденности немцев эпохи Вильгельма II в том, что отныне они выражают дух Запада и, следовательно, способны представлять интересы всех западных стран. Собственно, так оно и было. Германизм – это то худшее, что накопилось в западной цивилизации и получило концентрированное выражение в германизме. Поэтому противостоя германизму, Россия могла способствовать освобождению Запада от того, что самим западным людям в себе не нравится и от чего они хотели бы освободиться. Таким образом, противостоя Германии, Россия укрощает дух германизма с его империалистическими амбициями и тем самым возвращает Запад к тому, что в нем есть самого идеального. Известно, что в России отношение к Западу

всегда было амбивалентным. Следовательно, война с Германией – это стремление России спасти на Западе то, что русским и, в особенности, славянофилам на Западе нравилось.

По всей видимости, именно в первую мировую войну этот комплекс избавления ощутили не только русские, но сами немцы, французы и англичане. Поэтому на этой почве и возникало большее понимание, хотя оно и не имело продолжения в силу того, что Октябрьская революция и последующий террор в России вновь оттолкнул Запад от России. Эту возможность нового, более глубокого единения между Россией и Западом, ставшую реальностью еще в первую мировую войну, хорошо ощущал В. Эрн. «Отношение России к Европе, – писал он, – стало чрезвычайно простым после того, как отрицательные богоубийственные энергии Запада стали сгущаться в Германии, как в каком-то мировом нарыве, – и оттягивать весь воспалительный процесс в одно место. Когда вспыхнула война и наяву в Бельгии, Франции и Англии воскресли «святые чудеса», между Россией и этими странами установилось настоящее духовное единство. С этой Европою подвига и героизма, с Европою веры и жертвы, с Европою благородства и прямоты мы можем вместе, единым сердцем и единым духом, творить единое «вселенское дело» [Эрн 1991: 382].

При этом В. Эрн и обращает внимание на то, что русских и других европейцев в годы войны объединил вовсе не враг, как это часто случается, в данном случае враг в лице Германии, а любовь и привязанность к родственным и близким святыням. «Как бы ни была значительна и огромна война, с более общих точек зрения судеб Европы и России она все же представляется только началом нового периода истории, в котором духовные силы Востока и Запада станут в какие-то новые творческие и небывалые еще соотношения, и Европе в дружном сотрудничестве с Россией придется пересмотреть в свете пережитого «онтологического» опыта войны, все основы своего духовного бытия и найти новые пути дальнейшего культурного и духовного развития» [Эрн 1991: 382].

То, что не могло реализоваться в первых десятилетиях XX века, то вновь стало актуальным во время второй мировой войны. Судя по всему, Сталин рассчитывал на большее понимание со стороны западных держав, и для этого были основания. Во всяком случае, после второй мировой войны для этого оснований было больше. Однако готовность Сталина открыться Западу не встретила ответной реакции. Диктатору не доверяли. Не доверяли все больше и больше. Сталин ассоциировался с Востоком, а Восток для Запада – травма на протяжении всей предшествующей истории. Такое ощущение, что низвергнув с помощью одного диктатора (Сталина) диктатора другого (Гитлера), Запад начал наступление на Сталина, еще недавно бывшего союзником Запада. Так возникшее сближение сменялось все более утверждающим себя отчуждением. Начиналась холодная война. Выступление Черчилля в Фултоне уже свидетельствовало о том, что Запад Сталину не только не доверяет, но и высказывает опасения. Сталина, который принес в жертву миллионы жизней русских людей на алтарь освобождения, в том числе и Запада, это ожесточило. Это не могло не сказаться на том курсе, который был взят им после войны. Ощущая недоверие со стороны Запада, Сталин отвечал тем же.

Так, извечное непонимание России Западом, осмысленное еще славянофилом Н. Данилевским, получило продолжение. Уходящий глубоко в историю цивилизационный конфликт продолжал сохраняться. После войны Сталин вызвал к жизни курс, который, по сути дела, возрождал установки славянофилов. Так, то, что после войны будут называть космополитизмом, преклонением перед Западом, в XIX веке называли «европейничаньем» или «нашим балансированием перед общественным мнением Европы, которую мы признали своим судьею, перед решением которого трепещем, милость которого заискиваем» [Данилевский 1991: 294].

Имея в виду это «европейничанье» в России в самых разных слоях общества и, в частности, в среде общественных деятелей, Н. Данилевский писал: «Не то же ли самое и с нашими общественными деятелями, беспрестанно оглядывающимися и прислушивающимися к тому, что скажет Европа; признает ли действие их достойными просвещенного европеизма? Фамусов, ввиду бесчестия своей дочери, восклицает: что скажет княгиня Марья Алексеевна – и этим обнаруживает всю глубину своего нравственного ничтожества. Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал» [Данилевский 1991: 294].

Возникшее после войны некоторое потепление сменилось вмешательством в процессы культуры. На первый план здесь выходила критика угодничества и низкопоклонства перед Западом. Это был ответ на жесткую политику «холодной» войны, начавшейся со знаменитой речи Черчилля в 1946 году. Вновь активизирующееся давление Америки, да и всего Запада против коммунистического мира, провоцирует в Сталине озлобленность, и она обрушивается на представителей интеллигенции, что проявилось в так называемой «ждановщине». Интеллигенцию начинают упрекать в низкопоклонничестве перед Западом. Сам Сталин в мае 1947 года на встрече с писателями, по свидетельству К. Симонова, говорил следующее: «Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Эта традиция отсталая, она идет еще от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами – застранцами» [Симонов 1990: 111].

Таким образом, смысл деятельности Сталина, а, следовательно, и его «творческого ответа» следует соотнести и с обществом, и с интеллигенцией. Реабилитируя империю, спасал ли Сталин с помощью ее реабилитации общество или же предпринимаемая им реабилитация империи была продиктована необходимостью спасения цивилизации? Может быть, кризис, который начали ощущать после революции, на самом деле был кризисом уже не только общества, но и российской цивилизации в целом? Осознавал ли сам Сталин смысл предложенного и реализуемого им «творческого ответа» до конца? А именно, как творческого ответа на надлом российской цивилизации, который казался только постреволюционным кризисом России?

Независимо от того, осознавал ли сам Сталин смысл своего творческого ответа, предпринятые им действия имеют отношение к судьбе российской цивилизации в целом. Возвращение к жесткой государственности, происходящее по инициативе и под руководством Сталина, означало не только реабилитацию империи, а, следовательно, реабилитацию политических ценностей, определяющих ту часть российской истории, которая исчерпывается петербургским периодом российской истории. Вместе с реабилитацией империи происходила и реабилитация столь значимой для России византийской традиции, которую следует понимать в самом широком смысле и, в том числе, под такой традицией следует подразумевать и традицию политической культуры. Ведь жесткая государственность – это именно византийская традиция. Реабилитация империи оказывается реабилитацией той традиции, которая, начиная с XVII века, постепенно угасала, уходила в подсознание русских людей.

Ставя вопрос именно так, т. е. как судьбоносный творческий ответ Сталина на вызов истории, который, в свою очередь, явился следствием вызова со стороны России в форме ре-

волюции 1917 года, мы этот творческий ответ Сталина можем сопоставить с творческим ответом, данным в свое время Петром I. Эта аналогия между творческими ответами двух выдающихся деятелей российской истории не является и искусственной, и неожиданной. Не случайно в это время некоторым, в том числе даже великим поэтам, приходило в голову это сравнение Сталина с Петром I. А. Солженицын приходил к выводу, что к жизни вызвала гигантский проект Беломорканала не целесообразность, а тщеславное стремление Сталина вступить в состязание с Петром I, причем осознанное стремление. Симпатию к Петру Сталин проявил уже в момент термидора. Об этом свидетельствует произнесенная им на ноябрьском пленуме ЦК ВКП (б) 1928 года речь, посвященная индустриализации. Затрагивая, в частности, вопрос о технико-экономической отсталости страны, Сталин говорит о необходимости догнать Запад. По его мнению, технико-экономическая отсталость передана в наследство всей историей страны. «Когда Петр Великий, – говорил вождь, – имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости» [Сталин 1952: 248].

По мнению Сталина, вековую отсталость страны можно ликвидировать лишь в настоящий момент, опираясь на преимущества социализма. Художникам, начавшим сотрудничать с властью, эта аналогия подсказывала особые замыслы. Так, А. Толстой начинает писать роман, а режиссер В. Петров снимать фильм о Петре I. Воспринимать Сталина сквозь призму исторических реформ Петра I становится традицией. Но только как мы сегодня должны к этому сопоставлению отнестись? Если творческий ответ Петра был прогрессивным, то творческий ответ Сталина, связанный с реабилитацией византийской традиции, оказывается явно регрессивным. Ведь смысл петровских реформ как раз заключался в разрушении византийской традиции.

Но, однако, несмотря на регресс, судя по всему, сталинский творческий ответ оказался единственно в тех условиях возможным. Более того, курс Сталина связан еще и с переоценкой модерна, а, следовательно, с реабилитацией тех идей, которые успели обозначиться в эпоху романтизма и явились реакцией на модерн. Как известно, романтизм явился сопротивлением модерну. Романтизм начинает реабилитировать национальные и религиозные ценности. Он имел широкое распространение в России, о чем свидетельствует движение славянофилов, критически оценивающих реформы Петра I и весь тот курс, который был связан с втягиванием России в процессы вестернизации, что, естественно, способствовало отречению от византийской традиции. А. Янов писал о возвращении в эпоху оттепели к славянофильским настроениям, и лидером этих настроений он сделал А. Солженицына, возвращающего к национальной традиции [Янов 1990]. Романтизм и в самом деле связан со значимостью национального начала в истории.

Однако, может быть, Сталин, ставший объектом критики А. Солженицына, и был, как это ни покажется странным, в XX веке первым славянофилом, хотя известно, что славянофилы не были государственниками. В самом деле, когда война уже началась и Сталин 7 ноября 1941 года выступал на параде на Красной площади, он вспоминал исторические фигуры предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьму Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. Среди названных были герои святой Руси. Имея в виду содержание этой речи, Д. Робертс пишет: «Удивительнее всего в этих выступлениях было полное отсутствие каких бы то ни было упоминаний о советской коммунистической партии. Хотя Сталин и упомянул Ленина, но не как основателя партии большевиков, а как одного из представителей пантеона героев Руси. Сталин отнюдь не сбрасывал партию со счетов; напротив, партия оставалась ключевым инструментом всесоюзной мобилизации. Однако тем, что он в своей речи ничего не сказал о партии, Сталин хотел показать, что он хо-

тел патриотического единения, которое не ограничивалось бы рядами убежденных коммунистов» [Робертс 2014: 164].

Самое интересное – это то, что сам Сталин называл себя славянофилом, точнее, «новым славянофилом». Это определение он позволил себе в тот момент, когда, казалось, что международная обстановка и отношение западных лидеров к России были благоприятными, т. е. после Ялтинской конференции в 1945 году. Такое признание он сделал в контексте развиваемой им идеи К. Леонтьева о необходимости единения славян перед лицом угрозы со стороны Германии во время приема в честь приезда чехословацкой делегации. «Мы, – говорил вождь, – новые славянофилы-ленинцы, славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за Союз славянских народов. Мы считаем, что независимо от разницы в политическом и социальном положении, независимо от бытовых и этнографических различий все славяне должны быть в союзе друг с другом против нашего общего врага – немцев. Вся история жизни славян учит, что этот союз нам необходим для защиты славянства. Вот возьмите хотя бы две последние мировые войны. Из-за чего они начались? Из-за славян. Немцы хотели поработить славян» [Робертс 2014: 338].

Но эту реабилитацию византийской традиции осознает не только Сталин. Ее формулирует теоретик и истории цивилизации А. Тойнби. Для него не секрет, что под видом марксизма в России возрождалась именно эта традиция. Когда А. Тойнби пытается понять политический опыт России в XX веке, он явно его не исчерпывает марксистскими идеями. Он пишет, что сталинская Россия попыталась приспособить марксизм для себя. «В секуляризованном варианте повторив метод староверов, – пишет он, – русский коммунистический режим объявил себя единственной истинной марксистской ортодоксией, предполагая, что теория и практики марксизма могут быть выражены в понятиях только русского опыта. Таким образом, приоритет социальной революции вновь дает для России возможность заявить о своей уникальной судьбе, возродив идею, которая уходит корнями в русскую культурную традицию. К славянофилам она перешла в свое время от русской православной церкви, хотя никогда ранее она не получала официальной секулярной санкции» [Тойнби 2003: 51].

У Л. Троцкого тоже превосходно прослежено недоверие Сталина ко всему западному, даже к тем революционерам, которые готовили революцию, находясь в эмиграции и изучая сочинения западных мыслителей. Курс Сталина, однако, не исчерпывается возвращением к византийской традиции. Как известно, самобытность византийской цивилизации, которая утверждалась в эпоху византийских императоров, будь то Ираклий I, Алесей I Комнин или Михаил VIII Палеолог, утверждалась в пику западной цивилизации ассимиляцией элементов восточных цивилизаций, что соответствовала ментальности существующих на территории России этносов, поскольку в далекие времена, как утверждает Г. Вернадский, они входили составной частью в восточные империи [Вернадский 2004: 47].

Совсем не случайно Сталин дает сигнал реабилитировать русскую историю, которая на экране началась с Александра Невского. Ведь именно этим политическим лидером было сделано судьбоносное решение, связанное с определением места России в ряду остальных государств. Известно, что часть русских областей в эпоху Средневековья ориентировалась на Запад, который жаждал если и не присоединить Русь к себе, то хотя бы ее контролировать. Это именно Александр Невский сделал выбор в пользу Великой Степи, что определило всю последующую историю России, как и ее весьма непростые отношения с Западом [Вернадский 1994]. Хотя с Петра I Россия радикально повернула на Запад, тем не менее, она никогда полностью не могла порвать ни с византийскими, ни с восточными традициями, столь существенными для ментальности русских.

Так, творческий ответ можно рассматривать с точки зрения того, что в первой половине XX века не очень осознавалось, но было актуальным. Конечно, отдельные мыслители над

этим уже начинали размышлять. Размышляли, например, те, кто прочитал Шпенглера, а также те, кто задумывался о судьбе России, оказавшись в эмиграции. Этот творческий ответ был связан именно с пониманием судьбы России как типа цивилизации. В частности, в этом направлении размышляли евразийцы. Может быть, именно евразийцы оказались более близки к пониманию творческого ответа применительно уже не к революции или социуму, но именно к типу цивилизации. Но дело не только в византийской традиции, которая, кстати, не чужда не только России, но и Грузии, поскольку Грузия, как известно, приняла христианство раньше России на шестьсот лет из рук Византии, а Сталин, учась в православной семинарии, усвоил именно эту средневековую традицию.

Дело также и в том, что Сталин оказался еще ближе к коллективному бессознательному русских, ибо это коллективное бессознательное у них связано с Азией, Востоком. Когда соратники Сталина выносят оценки его поступкам, акцент они ставят на том, что он – азиат. Так, Каменев предупреждает Л. Троцкого: «Вы не знаете этого азиата…» [Троцкий 1990: 190]. Конечно, можно было бы привести множество деталей, позволяющих уловить в Сталине восточное начало. Например, находясь вместе с ним в ссылке, некоторые соратники отмечают его нелюбовь к труду («Все, кто ближе соприкасался с ним в более поздние периоды, знали, что Сталин не любит работать» [Троцкий 1990: 126]).

А вот еще один штрих в психологии Сталина, объясняемый национальными особенностями среды, из которой вышел этот революционер. Это гипертрофированная мстительность, которую Л. Троцкий представляет как национальную особенность осетин. Это древнейший обычай кровавой мести из рода в род («Сталин перенес этот обычай в сферы высокой политики» [Троцкий 1990: 204]. И, наконец, Сталин – уже не только Иван Грозный или кто-то из византийских императоров, но Чингис-хан. Так, касаясь испуга новой бюрократии от действий Сталина, Л. Троцкий пишет: «Он (Сталин – Н. Х.) затронул ножом жизненные ткани правящего слоя. Бюрократия испугалась и ужаснулась. Она впервые увидела в Сталине не первого среди равных, а азиатского тирана Чингис-хана, как его назвал некогда Бухарин» [Троцкий 1990: 267]. Л. Троцкому, поставившему своей задачей представить характер Сталина, пришлось выяснять черты национального характера грузин, с одной стороны, ленивую беззаботность со взрывчатой вспыльчивостью, с другой, холодность, сочетающуюся с упорством и коварством» [Троцкий 1990: 21]. Парадокс, видимо, заключается в том, что личность, в которой сохранились азиатские, восточные черты, оказалась во главе новой империи («Грузин Джугашвилли стал носителем великорусского бюрократического гнета по тем же законам истории, по которым австриец Гитлер дал крайнее завершение духу прусской милитаристской касты» [Троцкий 1990: 171].

Так что курс Сталина предполагал формирование новой идентичности русских на основе древнейших традиций, тех традиций, которые пытались выявить русские философы-эмигранты, которых мы знаем как евразийцев. Нет, не случайно Сталина называли современным Чингис-ханом. Ведь Сталин родом из того этноса, который сохранял древнейшие традиции, которые, казалось, уже давно не существовали. Нужно было ждать эпохи величайших геологических сдвигов в истории, чтобы они прорвались в реальность и получили выражение. Но это в XX веке, как доказывал Г. Федотов, и происходит. Не случайно Сталина часто называют азиатом. Его можно назвать и славянофилом, и евразийцем. Это только подчеркивает, что в своем курсе он оказался очень далеко и от революции, и от модерна. Следовательно, его курс нужно осмыслять совсем на другом уровне.

Данный им творческий ответ может быть понятным лишь в том случае, если все кризисы XX века мы будем осмыслять под углом зрения надлома цивилизации. Творческий ответ Сталина имеет цивилизационный смысл. Осмыслить его деятельность на всех других уровнях бессмысленно. Все выводы тогда могут быть поверхностными. Но если его творческий

ответ осмыслять в контексте цивилизационных процессов, то это предполагает то, что во внимание следует принимать особую длительность цивилизации, а также и те фазы, которые каждый тип цивилизации проходит. Время цивилизации отличается от времени общества, которое можно исчерпать краткими длительностями. Время цивилизации – это время больших временных протяженностей, которыми обычный человек не мыслит. Тем не менее, они существуют. То обстоятельство, что по отношению к Сталину до сих пор не существует единой оценки, только свидетельствует о том, что его деятельность осмысляется в соответствии с краткими длительностями истории (вклад Сталина в революцию, вклад Сталина в индустриализацию, вклад Сталина во вторую мировую войну и т. д.). Но все это частные вопросы.

Вернемся к тому мифологическому архетипу, что возрождается в Сталине, т. е. к уничтожающему возможных претендентов на роль бога Кроноса. Позиция Кроноса вообще связана с выходом из истории в миф, что вообще характерно для курса Сталина и что проницательно отметил В. Паперный в своей книге, анализируя архитектуру эпохи Сталина. О том, что Кронос связан с особым отношением ко времени, пишет Ф. Шеллинг. Отношение к своим соперникам, которых Кронос вынужден истреблять, связано с тем, что он вообще не хочет изменений во времени, не желает продолжения истории и вообще истории как таковой. Он стягивает время (и настоящее, и прошлое, и будущее) лишь к тому мгновению, когда он один удерживает власть в своих руках. С этого момента время останавливается. «Из этой все еще удерживаемой Кроносом единственности следует также, – пишет Ф. Шеллинг, – что он не желает терпеть какого бы то ни было бога после себя и кроме себя, не желает допустить какой бы то ни было сукцессии, не желает вообще ничего исторического, и равным образом из этого его сопротивления всякой сукцессии явствует, в каком смысле Кронос является богом времени и в каком – нет. А именно, не есть, к примеру, как это принято полагать повсеместно, бог действительного времени: напротив, он как раз есть отрицающий действительное время, для себя время отвергающий, не желающий существовать во времени. Поскольку он сам не желает стать прошлым, он препятствует всякой возможности открытия прошлого, настоящего и будущего, т. е. выхода в действительное время; ибо действительное время положено лишь тогда, когда uno lodemgue actu полагается прошлое, настоящее и будущее, т. е. действительное время есть только в том случае, если нечто полагается как прошлое; он есть, таким образом, всего лишь бог еще не открытого действительного времени, он есть бог лишь хаотического, вновь и вновь пожирающего свои творения, времени; он есть, конечно же, с действительным временем борющаяся, его самого не допускающая, симультанность, а значит – он никоим образом не есть прогрессирующее, все порождающее, однако вслед за этим вновь поглощающее, время» [Шеллинг 2013: 229].

Исчерпывающая оценка деятельности Сталина оказывается в зависимости от перспектив существования российской цивилизации. Мы обязаны ответить на вопрос: способствовала ли его деятельность продлению длительности цивилизации или же она способствовала ускорению надлома этой цивилизации? При этом следует принять во внимание то обстоятельство, что надлом российской цивилизации, как это доказывает Л. Гумилев, собственно, начался задолго до XX века. Исчезновение в начале XX века царской империи уже было свидетельством наступления следующей фазы в истории цивилизации, свидетельством продолжающегося надлома.

7. Вторая мировая война в истории России в ракурсе ментальности

Вторая мировая война – событие исключительной важности как для нас, русских, не случайно мы ее называем Отечественной войной, так и для остальных народов. Это событие мирового значения. Можно попытаться это показать, соотнося ее с тем мировосприятием,

что возникло в XVIII веке, получив обозначение как модерн. На протяжении всех последующих столетий оно имело колоссальное воздействие и на умы отдельных людей, и на исторические процессы. Но для того, чтобы к этой, пока еще не обсуждаемой в литературе теме подойти, мы попробуем предварительно обсудить тему значимости этой войны для России. Эту тему мы мыслим как ступеньку, позволяющую затем обсудить вопрос об отношениях этой войны и мировосприятия модерна, которое, хотя и признано уходящим в прошлое, но, судя по амбициозным установкам некоторых лидирующих сегодня в мире государств, все еще продолжает быть активным.

Г. Федотов утверждал, что вторая мировая война является вторым актом первой мировой войны [Федотов 1992: 308]. Как известно, первая мировая война для России стала исходной точкой революции 1917 года. Первая мировая война ускорила крах старой империи. Но этот распад империи развертывался постепенно. Его можно было прогнозировать уже в XIX веке. Если бы не было первой мировой войны, Российская империя существовала бы дольше. Как тут не вспомнить Гегеля, увидевшего в войне не только негативные, но и позитивные процессы, ускоряющие ход истории. «Высокое значение войны состоит в том, что благодаря ей, – пишет Гегель, – как я это выразил в другом месте, … сохраняется нравственное здоровье народов, его безразличие к застыванию конечных определенностей; подобно тому, как движение ветров не дает озеру загнивать, что с ним непременно случилось бы при продолжительном безветрии, так и война предохраняет народы от гниения, которые непременно явились бы следствием продолжительного, а тем паче вечного мира» [Гегель 1934: 344].

Следствием первой мировой войны явился не только распад старой российской империи и революции 1917 года, но и того, что она, в свою очередь, ускорила распад других мировых империй. «Мировая война 1914–1918 годов, – пишет А. Тойнби, – вынесла на поверхность тенденцию, подспудно зревшую уже не менее века. К 1918 году одна из тех восьми великих держав, которые существовали в 1914 году, совершенно исчезла с политической карты, две другие, искалеченные, находились в состоянии прострации, а одна из более или менее благополучно выживших стала энергично перестраиваться в поисках «самоуправления доминионов» [Тойнби 1991: 19]. Первая мировая война ускорила утрату лидерства Запада в мировой истории, продолжающегося несколько столетий, что, конечно, обеспечивало в мире некоторое единство и стабильность, но в то же время и сдерживало развитие духовного потенциала разных народов. В течение длительного времени они находились под воздействием существующих империй, но уже успели созреть для более активного вмешательства в историю.

Конечно, с Гегелем невозможно не согласиться. Но, с другой стороны, Гегель все же не учитывает и другие последствия войны, не обязательно позитивные и совсем непозитивные. Мы попробуем этот момент выявить во второй мировой войне, фиксируя внимание на том, как ментальный комплекс народа, соединившись с имперским комплексом, оказался благоприятным для планетарных амбиций диктатора Сталина, который, реабилитируя византийский фундамент российской цивилизации, попытался все-таки реализовать идею большевиков и, прежде всего, Ленина и Троцкого, всем известную как мировая революция. Но, в отличие от Ленина и Троцкого, веривших в то, что мировую революцию будут совершать сами пролетарии всех стран, а русская революция послужит лишь запальником для такой революции, сталинский план мировой революции, возможно, предусматривал организацию такой революции с помощью армии и оружия.

В связи с этим нельзя не принять во внимание и те апокрифы о второй мировой войне, которые, хотя официальными историками и отвергаются, но, тем не менее, имеют хождение, в том числе, и в печатных формах. В частности, можно допустить, как это и утверждается

в такого рода апокрифах, что если иметь в виду, что сталинский замысел развертывания второй мировой войны как раз и предусматривал реализацию большевистской идеи мировой революции, то следует согласиться и с тем, что эта идея, несмотря на победу русских в этой войне, второй раз потерпела крах. Конечно, трудно отвергать официальную точку зрения, связанную с началом войны, которая заключалась в том, что Гитлер напал на Советский Союз неожиданно, в силу чего советская армия оказалась в трудной ситуации, начав отступать. Так оно и было несмотря на то, что Сталин об этом нападении имел информацию от разных источников. Неожиданным для Сталина, возможно, было то, что такое внезапное нападение Гитлера его замыслу не соответствовало.

Если исходить из диктаторских амбиций Сталина, то это следует признать вероятным. Как утверждают апокрифы, замысел Сталина заключался в том, что Гитлер должен был сначала овладеть западными странами, а Сталин должен был явиться с армией в эти страны, представ их освободителем от Гитлера, а самого Гитлера низвергнуть. Но этот освободительный акт Сталина на самом деле оказывался оккупацией, овладением Западом, который упаковывался в приемлемые образы. Именно об этом свидетельствует то обстоятельство, что до самого начала войны Россия снабжала Гитлера всем необходимым для вооружения Германии. Если с этим согласиться, то нападение Гитлера, действительно, явилось внезапным и неожиданным. Но это только объясняет то, что Гитлер мог разгадать план коварного Сталина и поспешил его разрушить, неожиданно напав на Советский Союз.

Ирония заключается в том, что в ходе второй мировой войны, как утверждают апокрифы, существовал или, может быть, точнее, возник и еще один план – уже геополитического масштаба, хотя это и маловероятно. Столкновение в войне двух империй – большевистской и немецкой могло еще не определять расклад сил. План Сталина и план Гитлера могли быть частными моментами гораздо более перспективного сценария, осуществляемого американцами и, в частности, как утверждают некоторые апокрифы, Рузвельтом. Столкновение в этой войне двух империй способствовало их закату, одной – сразу же, другой, спустя десятилетия. Война подорвала и материальный, и духовный фундамент вступивших в войну народов. Американцы же, длительное время не вступавшие в войну и сохранявшие свой потенциал, воспользовались создавшейся ситуацией и, как показало время, оказались единственными реальными победителями в ходе второй мировой войны, о чем и свидетельствовало их последующее процветание.

Но сейчас мы сосредоточим внимание не на амбициях и замыслах диктаторов, запустивших машину уничтожения, а на ментальном комплексе народа, оказавшегося в этой ситуации жертвой, но в то же время и продемонстрировавшего сталь значимые ментальные комплексы, которые способны оздоровить мир в последующей послевоенной ситуации, т. е. уже в XXI веке, когда кажущийся оптимистическим и созидательным модерн продемонстрирует свою оборотную сторону и не только в русском, но и в американском варианте. Это время заката модерна уже приближается. Но оно станет реальным, когда американский вариант модерна окажется изжитым. Подведенный под него американцами военный, а, по сути, имперский фундамент этому закату, естественно, будет способствовать.

Почему вторая мировая война – исключительное событие для русских? Потому что она затронула самые проблемные, узловые моменты нашей ментальной и нашей коллективной идентичности, вызванной к жизни еще в эпоху Средневековья. В данном случае, пытаясь это осознать, мы продолжаем тему функционирования цивилизаций в больших исторических длительностях. Не случайно на торжественном обеде для командования в Кремле в 1945 году по случаю победы Сталин произнесет дифирамб русскому народу за его здравый смысл и терпение. По сути, речь идет о ментальности русских. «У нашего правительства, – говорил Сталин, – было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–

1942 гг… Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой… Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое» [Невежин 2003: 107].

Именно потому, что вторая мировая война затронула ментальность народа, она должна быть рассмотрена в истории культуры, осмыслена в контексте русской культуры. Очень многие проблемные комплексы, которые сформировались в удаленные эпохи и, казалось, уже не существуют, активизируются в ходе войны и входят в сознание. В этом смысле Н. Бердяев прав, утверждая, что война имеет отношение к каждому из нас [Бердяев 1990: 181]. Но как понимать это утверждение? Происхождение некоторых комплексов, характерных для исторической психологии русских, связано еще с идеей инока Филофея, ставшей государственной идеей, а она, в свою очередь, стала выражением той самой «русской идеи», о которой в последние двадцать-тридцать лет много говорят. В либеральную эпоху, в которой мы сегодня пребываем, кажется, признано, что это плод воображения. Но ведь в ментальности многое не только от реальности, но и от воображения.

Проявив к «русской идее» интерес в ельцинскую эпоху, исследователи, находясь под влиянием либеральных идей, тут же ее отвергли. Это совершенно понятно. Но от этого отмахнуться невозможно, поскольку идея Филофея затрагивает одну из тех культурных и духовных традиций, которые были русскими ассимилированы и определили нашу ментальность как в ее позитивных, так, возможно, и в негативных моментах. Что касается позитивных моментов, то здесь, конечно, имеется в виду христианская основа русской ментальности, а что касается негативных моментов, то тут речь должна идти о том, как эта христианская закваска трансформируется под воздействием имперской идеи как по своему духу языческой и исходящей из культа силы. Нельзя утверждать, что во второй мировой войне эти две традиции оказывались в гармонии.

Мы отдаем отчет в том, что далеко не все могут согласиться с тем видением войны, которое мы ставим в зависимость от ментальности русских. Но если этого не делать, то невозможно понять установки, что сработали в прошлом, и мы не поймем даже то, что происходит сегодня, в первые десятилетия XXI века. Наш актуальный политический опыт свидетельствует, что мы продолжаем быть верными тому, что было решающим в прошлые столетия. Русские когда-то, подхватив эстафету в Византии, назвали себя Римом, третьим Римом. Этот факт всем известен, но едва ли до конца осмыслен. Конечное осмысление в современной ситуации оказывается неудобным, не соответствующим либеральным императивам. Оно может привести к изменению тех особых взаимоотношений России с Западом, которые в период ассимиляции и утверждения в России западного либерализма весьма удобны.

Между тем, А. Тойнби, а не кто-либо из современных русских консерваторов, придавал определяющее значение воздействию на Россию именно Византии, что определяло отношение России к Западу не только на протяжении нескольких столетий, но даже и в XX веке, когда Россия развивалась в соответствии с установками марксизма [Тойнби 2003: 374]. Заимствованная на Западе марксистская теория, как оказывается, не исключала следование византийской традиции. А иначе, как понять то, что большевики стремились реализовать свои идеи на фундаменте жесткой государственности. Ведь Рим, как и Византия, подобно сегодняшней Америке, в свое время претендовал на лидерство в мировой истории, да отчасти эту идею в реальности и осуществлял. То же самое стремилась делать и Византия. В свое время

византийский денарий был тем же, чем сегодня является американский доллар. Потому Византия и называлась вторым Римом. Но, подхватывая эту эстафету у Византии, русские добровольно, в соответствии с логикой эстафеты принимали ответственность за судьбу всех остальных народов, не важно, нуждались ли эти народы в этом или нет. Но этот универсализм мышления потребовал от них колоссального напряжения и воли. Чтобы иметь возможность воздействовать на других, необходимо, прежде всего, укреплять себя, свою страну, свое государство, предъявлять к себе самые жесткие требования и их выполнять.

Собственно, формирующееся представление русского народа о себе, как о способном занять исключительное место в истории, как раз и называется мессианизмом, который в истории случался у других народов и раньше, например, у евреев. Между тем, интересно, что некоторые народы таких амбиций были лишены. Так, В. Розанов в этом отказывал древним грекам («Греки не знали мессианизма, не звали его. В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел» [Розанов 2008: 245]. Не было мессианизма и у французов ни в эпоху королей и маркизов, ни в эпоху санкюлотов и Бонапарта. («У них сиял «каждый день», а не «завтра», и «мессии», можно сказать, рождались ежедневно, то в дворцах, то под лавкой, то, как король солнца, то, как бездомный Руссо» [Розанов 2008: 245].

Что же касается русских, то, по мнению В. Розанова, под влиянием этого комплекса оказывались в том числе славянофилы и даже Достоевский. Однако, когда возникает мессианская вера в собственное избранничество, то имеет место и ответственность, требующая колоссального напряжения и, разумеется, собранности, дисциплины и, что печально, ограничения свободы. Может быть, именно этим ограничением свободы можно объяснить то обстоятельство, что русские вызвали к жизни сильное государство, а, точнее, одну из могущественных империй, хотя, казалось бы, такое бремя психологии русских и не соответствовало. Вот почему Н. Бердяев формулирует жестокую правду о России, утверждая, что она является самой государственной и самой бюрократической страной в мире. «Силы народа, – пишет он, – о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему все в свое орудие. Интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства» [Бердяев 1990: 6].

Раз Рим второй был империей, то такова судьба русских – Россия тоже должна стать империей. Такая твердыня стала гарантией осуществления принятого на себя бремени ответственности за судьбы мира. Это и есть мессианизм. Империя – залог прочности и стабильности не только российского универсума, но всего мироздания. Когда эта тема затрагивается в литературе, то она часто осмысляется лишь под тем углом зрения, когда критикуется извечная предрасположенность российской государственности к тоталитаризму. По мнению многих, вина за этот уклон лежит исключительно на правящей элите. Но в том-то все и дело, что упавшая на плечи русских ответственность – это не только внедряемая в них властной элитой ответственность, но и добровольно принимаемая всеобщая, а, следовательно, и идущая снизу ответственность, что и позволяет утверждать, что эта ответственность становится для ментальности русских определяющей.

Собственно, именно такая ментальная установка и лежит в основе того, что обычно называют русской национальной идеей, которую, как кажется, уже признали, определить невозможно. Но она все же существует и ментальность русских определяет. Проблема, правда, заключается в том, что со времен И. Фихте подобный мессианизм существует не только

в России. Но и в Германии. Так, в своей повести, написанной в форме дневниковых записей и изданных в Мюнхене в 1929 году, Иозеф Геббельс пишет: «Существует немецкая идея, как, впрочем, и русская. В будущем они должны будут учитывать друг друга…» [Моссе 2010: 138]. Что же свидетельствует о существовании немецкой национальной идеи? Что является ее содержанием? Как ее понимают сами немцы? По мнению Йозефа Геббельса, в призвании немцев освободить себя и другие народы («И миссия эта имеет международное значение. Если Германия рухнет, свет во всем мире погаснет» [Моссе 2010: 141].

Речь ведь идет не о ментальности только правящей элиты. Ментальность подразумевает всеобщность. Но всегда ли в исторической реальности русские оказывались способными, несмотря на приносимые на алтарь не чужого, а собственного государства добровольные жертвы, эту ответственность в истории осуществлять? Хотя на счету российского государства множество ярких героических страниц, тем не менее, такая исключительная ответственность осуществлялась не всегда. Вот это обстоятельство стало основой трагедии, без которой, видимо, русской ментальности не существует. Ведь каждый раз трагедия возникает в истории лишь у тех народов, которые ставят перед собой великие цели и пытаются их реализовать. Но удается это далеко не всегда. Приходится удивляться тому, что в нашем искусстве не получает развития трагедия как жанр. Мы все пытаемся развлекаться. Особенно сегодня. Такое ощущение, что с помощью развлечения хочется о чем-то забыть, от чего-то тяжелого отвлечься. А отвлекаться есть от чего. Причины имеются. В ситуации распада империи, возведенной Сталиным, русские вновь вернулись к той ситуации, что складывалась в России в связи с распадом царской империи, а именно, с тяжелыми раздумьями уже о судьбе российской цивилизации в целом.

Лишь обращение к военной теме пробуждает не чуждое нам чувство трагического, вызывает к жизни тот катарсис, что возникает от соприкосновения с сакральным. Но война и есть незримо обеспечивающий единство грандиозный сакральный акт. Вот об этом единении целого народа – русских хорошо сказал В. Розанов в разгар первой мировой войны. «Вся Русь слилась в одного человека, – пишет он. – Уже велик этот момент, велик и редок. Все поднялось, все поднялись. И нужда, и радость, и труд, и надежда, – все, как одна стрела, пронизавшая сто пятьдесят миллионов сердец» [Розанов 2008: 15]. Не случайно у Достоевского есть такая мысль: «Если бы не было войны, искусство бы заглохло окончательно. Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. Пойдите в трагедию, смотрите на статуи. Вот Гораций Корнеля, вот Аполлон Бельведерский, поражающий чудовище» [Достоевский 1981: 124]. Поэтому искусство, демонстрирующее перманентный кризис, постоянно черпает в войне веру в то, что в мире существует что-то, перед чем следует склонить голову. Если еще и есть сегодня у нас что-то, что нас объединяет, то это память о тех, кто пожертвовал своими жизнями и чист от той вакханалии потребительства, которая как раковая опухоль в последние десятилетия в России распространялась. Именно память о войне, а не театрализованное, поверхностное православие позволяет культивировать нечто религиозное и сакральное. Религия вообще начинается с обожествления умерших героических предков.

Может быть, этот ментальный комплекс объясняет, почему Россия пытается, в том числе и в XX веке, не только сохранить и государственность в форме империи, но и заново ее возродить, хотя, кажется, она уже ушла в прошлое. Причем, государственность в самой жесткой ее форме, требующей ограничения свободы личности. Дело доходит до того, что, как отмечал Н. Бердяев, невозможность избавиться от культа государственности, которое русский народ постоянно воспроизводит в своей истории, приводит к амбивалентному отношению к государству. Мы уже успели сказать о мысли Н. Бердяева о русских как самом государственном народе. Но в том же самом сочинении философ утверждает и нечто противоположное, а именно то, что русский народ является самым безгосударственным («Россия –

самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире» [Бердяев 1990: 4]. Именно поэтому анархизм является выражением русского духа. «Никто не хотел власти, – пишет Н. Бердяев, – все боялись власти как нечистоты… Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Русские радикалы и русские консерваторы одинаково думали, что государство – это «они», а не «мы» [Бердяев 1990: 4]. Русский народ не очень любит свою государственность, но, с другой стороны, и не может без нее обойтись. Может быть, именно это обстоятельство объясняет, почему в России эпохи оттепели, а значит либерализации, а их несколько (например, в эпоху Александра I, Александра II, в эпоху Серебряного века и т. д.), постоянно сменялись возвращением к жесткой государственности. Эта историческая закономерность, кстати, прослеживается в книге А. Ахиезера [Ахиезер 1997].

Говоря о мессианизме русских, мы пока не расшифровали его с содержательной стороны. Ведь ответственность русских за судьбу других народов вовсе не связана с их воинственностью и стремлением захватить другие народы и их подавить. Речь идет о восстановлении на всей земле братства и справедливости. Именно это содержание и вкладывается и в мессианизм, и в русскую идею. Русский человек, оказывается, готов даже к ограничению личной свободы. Готов ради всеобщего мира, братства и единения. Об этом убедительно писал Г. Федотов. Философ показал, что в психологии народов продолжают сохраняться способные в ситуации политических катастроф демонстрировать свою активность древнейшие структуры сознания. Причем такие культурно-исторические слои способны получать выражение в существующих базовых психологических типах.

Так, применительно к России Г. Федотов утверждает, что в ее культуре существуют два таких базовых типа личности. Первый тип он называет вечным искателем, максималистом и беспочвенником. Такой тип получил обозначение как странник. Второй тип является жестковолевым типом, оказавшимся в средневековой Руси строителем третьего Рима. Г. Федотов называет его фаталистом, не доверяющим разуму. В нем реальными остаются восточные архетипы. Буйство стихийных сил в нем укрощено вековой дисциплиной. Характеризуя этот тип, философ пишет: «Спокойная, уверенная в себе сила. За молчанием чувствуется глубокий, отстоявшийся в крови опыт Востока» [Федотов 1992: 175].

Любопытно, что вечный искатель и максималист проявил себя в революции, а вот тип средневекового москвитянина стал психологической основой возведения «третьего» Рима в сталинской редакции. «Это московский человек, – пишет Г. Федотов, – каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую. Петровская империя прикрыла сверху европейской культурой Московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой» [Федотов 1992: 177]. Измученный революциями и гражданской войной беспочвенник и скиталец – русский европеец уходит на периферию. На смену ему приходит и проявляет активность восточный тип – москвитянин, благополучно отсидевший в русской деревне два столетия императорской России. «Вековая привычка к повиновению, – пишет Г. Федотов, – слабое развитие личного сознания, потребности в свободе и легкость жизни в коллективе, «в службе и в тягле» – вот что роднит советского человека со старой Москвой» [Федотов 1992: 186]. Похоже, что именно этот психологический тип приходит каждый раз после очередных революций и радикальных реформ. В истории России он всегда приходил и приходит сейчас.

Г. Федотов позволяет понять психологические основания чередующихся в России периодов оттепели и заморозков, что и показано в книге А. Ахиезера, хотя его и не интересовали психологические аспекты русской истории. Тем не менее, несмотря на несходство базовых психологических типов, основные особенности русской ментальности, связанной со стремлением к всеобщему братству, ради которого можно приносить в жертву многое, в том числе свободу, в любом случае сохраняются. Так случилось, и этому способствовал разгул анархизма в ситуации революции, что на рубеже 20–30-х годов в русском народе активизировалась ментальность москвитянина с присущим ему стремлением навести в связи с распространяющейся смутой порядок. Ментальная почва была готова, оставалось лишь найти лидера, способного этот ментальный комплекс оформить в идеологию.

Следует сказать, что ментальные качества русских, о которых мы говорим, подмечены не только отечественными, но и зарубежными философами. Такие качества, т. е. стремление к всеобщему братству, ради которого можно пожертвовать свободой, немецкий философ В. Шубарт провозгласил особенно значимыми для XX века, а народ – обладатель этих ментальных свойств, согласно его теории, должен занять в новой истории после распада европоцентризма место лидера. Почему же в истории возникла новая ситуация? И почему требуется именно такой тип личности? Выясняется, что история уже давно развивается под знаком единства, что сегодня называют глобализацией. Между тем, не все народы, в том числе и те, что претендуют на роль лидера в истории, этому новому процессу в истории соответствуют. Такое расхождение между ментальностью конкретных народов, с одной стороны, и новыми историческими процессами, с другой, порождают напряжение. Раз Запад утрачивает лидерство в мировой истории, то возникает альтернатива. Это ставит Россию в новое положение.

По поводу радикальных «геологических» сдвигов в истории XX века Н. Бердяев пишет так: «И если близится конец провинциально замкнутой жизни Европы, то тем более близится конец провинциально-замкнутой жизни России. Россия должна выйти в мировую ширь. Конец Европы будет выступлением России и славянской расы на арену всемирной истории, как определяющей духовной силы» [Бердяев 1990: 126]. Эту мысль русского философа как раз и подхватывает В. Шубарт. В своей книге о России он напишет следующее: «В иоанническую эпоху центр тяжести культуры снова сместится. Потому что эон мессианского человека с его религиозной душой не может смириться с духовным лидерством северных народов, привязанных к земному. Он передаст лидерство в руки тех, кто обладает склонностью к сверхмирному в виде постоянного национального свойства, а таковыми являются славяне, и в особенности – русские. Грандиозное событие, которое сейчас готовится, – это восхождение славянства как ведущей культурной силы. Возможно, это кому-то режет слух, но такова судьба истории, которую никому не дано остановить: грядущее столетие принадлежит славянам» [Шубарт 1997: 22].

В первой половине XX века вопрос, кто будет лидером в семье народов, обсуждался. Его, например, не обходит Х. Ортега-и-Гассет. Подхватывая идею Шпенглера о «закате» Европы, философ пишет: «Три века Европа правила миром, а сегодня она уже не уверена, что правит и, тем более, – что будет править» [Ортега-и-Гассет 1997: 121]. Ослабление Запада стало следствием активизации других народов, спешащих объявить устарелой систему европейских ценностей. Среди новых претендентов на роль лидера в мировой истории философ называет Америку и Россию. Правда, к ним у философа доверия все же нет, поскольку проявить себя они еще не успели. Так, например, Россия у него представлена весьма юной («Народ еще не перебродивший, молодой, едва ли не юношеский» [Ортега-и-Гассет 1997: 125]. Этот народ, правда, подает себя носителем марксизма. Но, рассуждает испанский философ, во-первых, марксизм есть система, созданная Западом применительно к своим проблемам и, следовательно, победа марксизма в России, где нет промышленности, была бы вели-

чайшим противоречием, а, во-вторых, в России не больше марксистского, чем было римского в германцах Священной Римской империи. В результате Х. Ортега-и-Гассет отмечает, что для России марксизм – искусственное и не укорененное в культуре порождение. А вот в этом-то испанский философ как раз и ошибается. Н. Бердяев объяснил, что «большевизм воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божия на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся , хотя бы в бессознательной форме, русской верой в особые пути России» [Бердяев 1990:115].

Тем не менее, проницательно звучит суждение Х. Ортеги-и-Гассета о том, что наступит момент, когда сталинский марксизм будет изложен на языке русской истории. Ведь под этим марксизмом нет ничего, кроме возродившихся в XX веке традиций русской истории. Это совсем небанальная мысль. Мы как раз в этом направлении и рассуждаем. Не отрицая того, что по мере возмужалости Россия окажется способной играть значимую роль в истории, философ переходит к другому молодому народу – Америке. Но и американцы, по мнению философа, пока не могут справиться с лидерством. «Америка, – пишет он, – сильна своей молодостью, которая служит современному культу «техники», как служила бы культу Будды, будь на повестке дня буддизм. Но при этом Америка только начинает свою историю. Ее тревоги и распри еще впереди. Ей предстоит еще много перевоплощений, в том числе, – полярных практицизму и культу техники. Ведь Америке куда меньше лет, чем России… Америка еще не испытана жизнью; наивно думать, что она способна править» [Ортега-и-Гассет 1997: 126].

Но в XX веке история развивается стремительно. Когда Шпенглер после первой мировой войны перечислял число существующих на планете культур, Америки он еще не заметил. Но такой Америка становится во второй половине XX века. В этом смысле сознание американской правящей элиты в ходе мировой войны заслуживает особого внимания. Не случайно апокрифы доказывают, что победителем во второй мировой войне оказался не только не Гитлер, но даже и не Сталин, если, конечно, оценивать исход второй мировой войны с точки зрения большевистского проекта мировой революции в редакции Сталина. Последующая история показала, что вторая мировая война оказалась исходной точкой для успешного развития Америки, не принесшей в первой мировой войне в жертву ни своих материальных, ни духовных, ни витальных сил.

Когда развернулась первая мировая война, о ментальности народов никто не размышлял. Идеи французской школы историков, сосредоточившейся на проблеме ментальности, будут ассимилироваться позднее. Поэтому ментальность и ее влияние никто в расчет не принимал. Но она, тем не менее, многое в истории, в том числе, в возникновении и прекращении войн определяла. Когда в годы первой мировой войны в Украине в очередной раз активизировались настроения, связанные с отделением от России, В. Розанов пытался убедить украинцев в том, что они ставят этот вопрос в трудное для России время, когда плоды долгого исторического собирания Руси в единое целое, кажется, исчезают («Не торопите нас, хохлы, – не торопите в эти страшные дни, месяцы, годы: и вам все будет дано, будет дано больше и лучше, чем вы сами желаете» [Розанов 2008: 515].

В. Розанов пытается опровергнуть обвинение, которое предъявляется России как носителю духа империализма. Именно потому он затрагивает существенные моменты ментальности русских, утверждая, что русские обладают «величайшей объединительной властью для тех, грядущих времен, когда мягкость и ласка, доброта и деликатность сделаются единственной властью для народов и человека» [Розанов 2008: 516]. В качестве аргумента присутствия в русских связующей, объединительной силы, не связанной с жесткой властью, философ на-

поминает, что свою историю этот народ начал с призвания над собой чужой, инородной власти, что в истории является редкостью («Ни одна история не начиналась этим поступком кротости и безвластия» [Розанов 2008: 516]. К этому проницательному суждению В. Розанова, коснувшегося именно ментального комплекса русских, следовало бы добавить то, что принес с собой XX век, а именно, то, что место лидера, к необходимости появления которого история на рубеже XIX–XX веков подвела, должен был занять не национальный герой, не этнически русский.

Об этом комплексе ментальности русских, связанной с идеей братства, всегда знали поэты, в том числе современные. Не случайно поэты, например, Е. Евтушенко, в поэзии которого снова возродился планетарный пафос и чувство ответственности за все, что происходит в мире, что было характерно, например, для поэзии В. Маяковского, проговариваются, и этот ментальный комплекс братства выходит в сознание. Об этом свидетельствует, например, поэма Е. Евтушенко «Под кожей статуи свободы», в которой есть такие строчки: «Морально наг, морально бос // Родителей проклятье, // Я все же верую, как Бернс: // Все люди станут братья!» [Евтушенко 1984: 235]. Вот этот столь характерный для русских ментальный комплекс у поэта трансформируется в планетарный комплекс. Это один из ярких примеров выражения ментальности в поэтической форме.

Осознавая особую ответственность за судьбу других народов, сделав ее своей, русский народ на длительное время оказался во власти этого ментального комплекса. Он нуждался в том, чтобы осознание этой ответственности подтверждалось в реальности. В русской истории, в народном сознании значительными оказывались лишь те события, которые эту идею подтверждали. История ведь воспринимается в соответствии с ментальностью. Нам, русским, свойственно особое отношение к истории, которое может и не совпадать с ментальными установками других народов. Мы по-своему прочитываем и свою собственную историю, и историю других народов. В соответствии с ментальными установками, но они и есть установки культуры.

Получается, что нужно отличать войну как реальное, объективно существующее событие истории от того ментального образа, который присваивается войне массовым сознанием. Этот образ формируется в глубокой истории. Наконец, мы подходим к ответу на вопрос, почему вторая мировая война оказалась для нас, русских, исключительным событием. Да, вторая мировая война оказалась очередным, но и весьма редким в нашей истории событием, событием с большой буквы, подтверждающим присущее нам мессианское отношение к миру. Это не просто событие, а символическое для нашей истории событие. Свойственное русским отношение к другим народам, к миру вообще подтвердилось именно во второй мировой войне.

Мы говорим – очередным, поскольку предшествующим событием такого рода для русских должна была стать революция 1917 года, которая мыслилась русскими вопреки марксистской упаковке тоже в мессианском средневековом духе, но, к сожалению, в реальности таковой не стала. Слишком трагичными оказались результаты, разочаровавшие не только самих русских людей, но в еще большей степени другие народы, первоначально и в самом деле готовые были связывать с русской революцией большие надежды. В какой-то степени русская революция имела серьезные последствия для всей мировой истории. В литературе это, естественно, отмечалось. Она продемонстрировала, что вестернизация, определявшая в предшествующие столетия ход мировой истории, недолговечна. Этой революцией был продемонстрирован прецедент – если и не выход за пределы европоцентризма, то во всяком случае утверждение самостоятельности отдельных регионов по отношению к Западу. Она свидетельствовала, что существование вне пределов вестернизации возможно.

Но, конечно, что касается братства народов, то провозглашенный в ходе революции лозунг о братстве не только не был реализован в собственной стране, о чем свидетельствует террор и гражданская война, но и в мире, что подтверждает последующая мировая война. Русские не только не смогли освободить другие народы, а именно идея мировой революции как раз и преследовала эту цель, но им не удалось освободить даже себя. Революция выпустила не только светлые, но и разрушительные силы. Революция и в самом деле стала исходной точкой второй мировой войны. Так что, несмотря на некоторые позитивные стороны революции, трагические последствия ее налицо.

Когда-то Э. Берк, подводя итоги Французской революции конца XVIII века, писал, что вместо свободы, достижение которой она ставила своей целью, она привела к рабству. Наверное, регресс происходит во всех революциях, не исключая и русскую. Этой революцией было только доказано, что цель не оправдывает средства. И цель оказалась утопической, и средства использовались слишком бесчеловечными. По мере осознания трагедии мы стали терять доверие других народов. Даже тех, которые еще недавно входили в состав Советского Союза. Этот процесс продолжается вплоть до сегодняшнего дня.

Таким образом, можно считать, что цели, поставленные революцией и соответствующие ментальности русских, в реальности не осуществились. Что делать, в истории редко что осуществляется. Приходится это пережить. Кстати, на этот факт обращал внимание Н. Бердяев. Он писал: «Если смотреть на исторический процесс с точки зрения имманентного разрешения задач, которые в нем ставятся, разрешения их внутри потока времени, то нельзя не прийти к самым пессимистическим, безнадежным результатам, потому что, с этой точки зрения, все попытки разрешения всех исторических задач во все периоды должны быть признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека, в сущности, все не удалось, и есть основание думать, что никогда и не будет удаваться» [Бердяев 1990: 154]. Конечно, это суждение философа было навеяно настроениями, посетившими его после русской революции. Ведь с точки зрения философа, русская революция тоже оказалась неудачей, да и все революции в принципе кончались реакцией, отбрасывающей общества в прошлое. Русская революция вернула Россию снова к жесткой государственности, т. е. к византийской традиции. Хотели как лучше… Движение к прогрессу, ради которого принесено в жертву столько жизней, обернулось регрессом.

А вот исход второй мировой войны имел другой эффект. Она явилась тем редко имеющим место историческим моментом – моментом истины, который подтверждал ментальный комплекс русских. В этой войне от подвига русского народа оказалась зависимой и свобода других народов. Не случайно в британской прессе после Сталинградской битвы утверждалось, что советские войска спасли европейскую цивилизацию [Робертс 2014: 216]. Ведь по утверждению других западных печатных изданий, Сталинградская битва была одной из самых значительных битв за всю историю длительных войн. Это было охватившее всю землю роковое противостояние, и оно разрешилось благодаря тем жертвам, которые принес русский народ. Ради этой свободы русские люди принесли многочисленные жертвы. Именно поэтому вторая мировая война, а не революция 1917 года, стала для русских исключительным событием, что подтверждает русское искусство всей второй половины XX века, которое постоянно обращалось к этой теме.

Однако реализация этого ментального комплекса братства, в жертву которому были принесены миллионы русских, еще не исчерпывает всех смыслов второй мировой войны. Та точка зрения, что связана с ментальностью, в реальности вписывалась в задуманный Сталиным фантастический проект. Выясняется, что одной трагедии народа, что произошла в 1917 году, недостаточно. Смыслы второй мировой войны раздваивались. Втянутый в войну народ должен был защитить себя и свою землю. Начало войны – неожиданность не только

для Сталина, но и для народа. Но эта неожиданность была неодинаковой. Ведь народ не был посвящен в планы Сталина. А в этот план, возможно, входила гальванизация мировой революции, только на этот раз с помощью оружия и под маской освобождения народов от Гитлера. Поэтому смысл войны раздваивался. С одной стороны, это смысл, исходящий от народа, вынужденного защищать свою землю, с другой, смысл, связанный с амбициозным планом Сталина, уверовавшим в то, что, наконец-то, во второй мировой войне можно реализовать большевистский проект мировой революции. Имея в виду эту двойственность, можно утверждать, что вторая мировая война – это трагедия вдвойне. Ведь именно имперский комплекс, во власти которого оказался Сталин, привел к вырождению ментальной мессианской идеи братства, что идет от христианства. Перерождение мессианской идеи происходило по мере языческой редактуры ментальности, формировавшейся под воздействием христианства.

Раз в годы второй мировой войны, когда игра начала (впрочем, точнее было бы сказать, продолжалась) развертываться уже в международном масштабе, интересами внутренних оппозиционеров можно было пренебречь. Еще лучше – их устранить, что Сталин и начал проделывать. Он должен был, как, собственно, и советовал Н. Макиавелли князю Лоренцо Медичи, уничтожить многое, что, по его расчетам, могло помешать будущей власти над Западом. Он в своих жестоких действиях даже опережал поступки лиц, которые еще не были, а только могли быть совершены. Поступки, как он полагал, могли нанести ущерб возводимому им государству. И. Ильин прогнозировал, что после войны мир окажется под влиянием или Америки или России. Но Америка в годы второй мировой войны, поставлявшая России продовольствие и вооружение, противником России совсем не воспринималась, как не воспринималась таковой в конце 30-х годов Германия, которой Россия поставляла то же самое, чтобы, вооружившись, Гитлер смог подчинить себе западные страны. Америка как именно та держава, что в результате войны получила геополитические преференции, так не осознавалась.

Когда Г. Федотов попытался прогнозировать после второй мировой войны расклад сил на мировой арене, он говорил, что должно появиться новое мировое государство в виде империи, которое встанет во главе всех остальных народов. Он доказывал, что такая империя возможна в двух вариантах: российском и американском. Обеспечив победу прогрессивных сил во всем мире, Россия и в самом деле заслуженно претендовала на роль ведущей державы мира. Казалось, что сделанный в пользу России прогноз В. Шубарта реализовался. Конечно, субъективно Сталин тоже рассчитывал на то, что после второй мировой войны Советский союз может доминировать в Европе и в Азии. Так, оправившись от поражения в первые дни войны, уже после Сталинградской битвы Сталин продолжал размышлять над тем, каким будет расклад сил на международной арене и какое место созданное им государство займет в мире («Баланс сил сместился к Москве, а Лондон и Вашингтон сделались младшими партнерами по альянсу» [Робертс 2014: 234].

Но Сталин также знал и то, что это может произойти не стихийно. За это следует еще драться. Он дрался на всех встречах с лидерами ведущих стран мира – в Тегеране, Ялте, Потсдаме. Уже в ходе войны он прогнозировал возможный будущий расклад сил в мировой политике. Он предсказывал быстрое возрождение Германии после войны и, соответственно, новую агрессию с ее стороны и прежде всего по отношению к славянам. В сознание лидеров мировых держав он постоянно пытался внедрить мысль об опасности, которая будет в будущем исходить из Германии. Он знал, что возрождение Германии эти лидеры будут использовать в своей игре, в том числе и направленной против СССР. Та же самая установка у Сталина была и по отношению к Японии, которая, как он считал, после войны быстро возродится. Сталин был заинтересован в том, чтобы это возрождение и восстановление этих стран проис-

ходило медленнее. По мысли Сталина, это замедление должно было обеспечить Советскому Союзу доминирующее положение в Европе и Азии [Робертс 2014: 234].

Аргументируя свой прогноз, Г. Федотов рассуждал так. Если возобладает российский или советский вариант, то произойдет ограничение по всему миру свободы, ибо такова в России традиция, т. е. византийская традиция («Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от нее отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение» [Федотов 1992: 312]. Иначе говоря, то, что произошло в ходе русской революции и после нее, может осуществиться уже во всем мире.

Если же утвердится второй вариант – на основе Америки, то, конечно, в этом случае со свободой все будет обстоять благополучно и не будет основания опасаться порабощения народов. Собственно, уже в 1947 году американский президент Трумэн в обращении к конгрессу противопоставил эти два варианта образа жизни: образ жизни, как он утверждал, навязываемый тоталитарным режимом народам против их желания – в этом случае применяется террор и подавление личных свобод – и образ жизни, основанный на воле большинства, свободных выборах, гарантии свободы личности, свободы слова и религии и свободы от политического притеснения [Робертс 2014: 435]. Как утверждает Д. Робертс, в речи Трумэна Советский Союз не упоминался, но подразумевался. Собственно, с тех пор прошло более полувека, но едва ли что-то в этих установках Запада изменилось.

Правда, когда Г. Федотов, который, как мы убеждаемся, тоже делил ориентации послевоенного мира на две программы, утверждал, что у второй программы, предполагающей максимум свободы, имеются весьма уязвимые стороны, которые чем ближе к нашему времени, тем становятся все более острыми. В связи с этим невольно снова вспоминается ответ Чжоу Эньлая, который мы уже приводили: «У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно, – пишет Г. Федотов. – Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно» [Федотов 1992: 313]. Об этой опасности, которая угрожает либерализму, напишет позднее, как бы продолжая мысль Г. Федотова, А. Солженицын. Эта опасность связана с тем, что констатировали еще античные философы, а именно, утверждение либеральных тенденций может закончиться диктатурой. О том, что это такое, свидетельствует русская февральская революция, когда либеральные вожди оказались неспособными удержать власть в своих руках, уступив ее более радикальной партии и диктатуре. Сегодня эту закономерность проигрывает Украина. Такой откат от либерализма, что имел место в истории, может повториться. Он все еще представляет опасность. Вот почему данный Сталиным творческий ответ может быть осмыслен одним из возможных вариантов, к которому может прибегнуть в будущей истории не только Россия, но и Запад. Вот почему нельзя считать, что история закончена. И снова вспоминается ответ Чжоу Эньлая: еще не пришло время.

Хотя в послевоенной реальности все, казалось, развивалось в сторону российского варианта, тем не менее, война с участием армии имела своим продолжением то, что Черчилль в своем фултоновском докладе 1946 года назвал «холодной войной». В этом докладе он проницательно улавливал ту несвободу, что могла прийти с Востока. Образ свободы, ассоциирующийся с Америкой, оказался на многие десятилетия более привлекательным. Место лидера начала заметно занимать Америка. В. Кожинов точно писал о том, что уже трагедия Хиросимы была своеобразным высказыванием на тему, кто отныне в мире хозяин. «Американское правительство совершенно точно знало, – писал он, – что через две-три недели Япония капитулирует, никаких сил уже нет. Это было сделано для того, чтобы показать, кто отныне хозяин мира. Ради этого десятки тысяч людей были превращены в радиоактивную пыль. И решение приняли ничем не рисковавшие люди» [Вадим Кожинов 2005: 221].

Вот только парадокс заключается в том, что для того, чтобы утвердить себя именно в роли мирового лидера, Америка, как транслятор передовых либеральных идей и свободы, должна была трансформироваться в империю, и она таковой стала. Да, мы – империя, – пишет американский историк Т. Мэдден [Мэдден 2010: 21]. Но какая? Т. Мэдден рассуждает так. Бывают империи подчинения. Практически в истории все империи такими и были. И бывают империи доверия. Такие империи – исключение. Но такой была римская и такой империей доверия сегодня преподносит себя миру Америка. Она не имеет стремления ввязываться во все мировые конфликты. Но, утверждает Т. Мэдден, если ей приходится делать, то только потому, что она вынуждена реагировать на просьбу других народов от помощи. Едва ли это так.

Вторая мировая война для Сталина должна была быть следующим актом в революционной драме. Но на этот раз Запад может быть взят не с помощью романтических и утопических идей, не с помощью пламенных речей революционных трибунов, зажигающих массы, а с опорой на бюрократический аппарат и на милитаризацию общества, к чему Сталин и был всегда предрасположен. В данном случае в этом с Л. Троцким следует согласиться. Так, мы постепенно приближаемся к идее тоталитарного государства, что является составляющим элементом того «творческого ответа», который был дан Сталин на вызов истории.

8. Творческий ответ Сталина с точки зрения истории реализации проекта модерна

Задуманный большевиками проект осуществления мировой революции, т. е. большевизации Запада в ходе второй мировой войны, не удался. Он был разгадан, с одной стороны, Гитлером, упредившим Сталина, с другой, как утверждают апокрифы, Рузвельтом. Эти загадки и отгадки, эти игры правящей элиты нескольких стран, однако, не упраздняют действия главного фактора – несходства цивилизаций и вытекающего из этого обстоятельства их взаимного непонимания, достигающего в иные эпохи вооруженного столкновения. Но вот наличие этого фактора не осознается не только самими народами, но и лидерами этих народов. Этот фактор может присутствовать и даже определять сознание лидеров, но в своей самостоятельности и значимости он не осознается. Тем не менее, он активно себя проявляет, в том числе в самых рациональных проектах, о чем и свидетельствует вторая мировая война.

Распространяющийся в первых десятилетиях XXI века кризис, который оказывается уже универсальным кризисом, охватывающим практически все народы планеты, свидетельствует о кризисе самого яркого и самого привлекательного проекта, некогда возникшего в недрах цивилизации Запада или проекта модерна. С этой точки зрения победа во второй мировой войне не только России, но и Америки относительна. Проиграл не только Гитлер и, как показал развал большевистской империи в конце XX века, не только Сталин, но, что бы ни утверждалось в апокрифах, проиграла и самая демократическая и самая либеральная Америка, продолжающая до сих пор следовать проекту модерна и, соответственно, не оставляющая надежды внедрять идеалы либерализма во всем мире. Даже если это приходится делать с помощью армии и оружия. Но в этом-то она как раз и не является после экспериментов Сталина оригинальной. Кризис и угасание идеи модерна, ставшей отправной точкой для всех революций и потрясений приводит к активизации консервативного начала истории. С этой точки зрения следует заново вернуться ко второй мировой войне и задаться вопросом, какой главный урок эта война и, в особенности, подвиг русских в этой войне преподносит современному миру. А этот позитивный урок, несмотря на диктаторские замыслы Сталина, действительно имеет место. Необходимо отделить коварный замысел Сталина от того нравственного пафоса, который проявился в ходе этой войны.

Говоря о второй мировой войне, мы до сих пор пытались ее увидеть как с точки зрения самого Сталина, так и с точки зрения ментальности народа, у которого имело место двойственное или амбивалентное отношение к возводимому вождем государству, сыгравшему значимую роль в экстремальной ситуации, когда российская цивилизация оказалась на грани исчезновения. Но раз мы с самого начала пытаемся осознать деятельность Сталина в контексте столкновения цивилизаций, то сейчас необходимо посмотреть на вторую мировую войну с точки зрения западной ментальности и, в частности, системы идей, возникшей на Западе в XVIII веке и названной нами выше «модерном». Мы уже использовали это понятие. Сейчас остановимся на этом подробнее. Модерн также имеет отношение к типу ментальности. Несомненно, хотя она и была рождена в недрах философии, тем не менее явилась концентрированным выражением западной ментальности. В данном случае, представляя идеи модерна, которые были сформулированы философами, в ментальном ракурсе мы стараемся следовать методологической установке Г. Гачева, который даже в рационалистических построениях философии Канта улавливал немецкую ментальность. «… Даже великая немецкая классическая философия, – писал он, – претендующая на универсальность мирообъединения, локальна и носит отпечаток германского образа мира» [Гачев 1995: 13].

Собственно, обсуждением вопроса об особой значимости второй мировой войны для русских можно было бы и закончить. Но для нас обсуждение этих вопросов является лишь прологом для выявления и обсуждения еще одного недостаточно осмысленного, да и вообще неосмысленного аспекта войны, который удивительным образом соединяет и внутренние, и внешние стороны войны, и общечеловеческий смысл этой войны, и тот особый смысл, который в нее вкладываем только мы, русские. Этот аспект весьма значим, и он обязывает снова вернуться к революции. Как мы уже сформулировали, эту революцию следует оценивать, несмотря на ее резонанс в мире, все же неудачей. Но на этот раз мы эту неудачу попробуем истолковать не с точки зрения русской мессианской ментальности, о которой до сих пор шла речь и которая нами выдвинута на первый план, ради того, чтобы выявить ментальный аспект второй мировой войны, имеющей для всей русской истории исключительное значение.

Революция 1917 года была, действительно, неудачей, и в этом с Н. Бердяевым можно согласиться. Но только эту неудачу нельзя свести к расхождению между реальным итогом революции, с одной стороны, и ментальными мессианскими установками русских, с другой. Русская революция оказалась неудачей в реализации того, что Ю. Хабермас назвал проектом модерна, смысл которого заключался в разрушении существующих в мире социальных устройств, не соответствующих принципу разума. Проект этот имеет западное происхождение и коренится в ментальности народов Запада. Своей целью русская революция ставила именно эту реализацию проекта модерна. На территории России в начале XX века решалась судьба модерна, а, следовательно, и судьба Запада. Поэтому провал этой революции – это провал этого проекта и свидетельство его несостоятельности.

В какой-то степени революция 1917 года выявляла, в том числе не то чтобы несостоятельность вестернизации, но ее исчерпанность. Но поскольку этот проект был рожден Западом, то, совершившись в России, он свидетельствовал о фиаско Запада. Правда, длительное время революция 1917 года с этой точки зрения не была осмыслена. Наоборот, эту революцию все осмысляли как торжество этого проекта. Да и вообще мало кто задумывался об отношении русской революции к модерну. Именно вторая мировая война помогла осознать то, что не было осознано своевременно, т. е. в ходе русской революции и позднее. Поскольку же проект модерна порожден Западом, то значение второй мировой войны не сводимо к чисто русской проблеме. Просто так получилось, что судьба этого проекта решалась в России, на территории России и в форме жертвоприношения русских.

Сейчас следует рассмотреть с точки зрения модерна и русскую революцию, и вторую мировую войну. Речь уже идет о рассмотрении второй мировой войны сквозь призму идей, которые были сформулированы еще в эпоху раннего модерна. Само собой разумеется, что это были весьма оптимистические идеи. Однако в XX веке они стали восприниматься иначе. Необходимо понять, какую роль в изменении отношения к этим идеям сыграла вторая мировая война. Ответ на этот вопрос снова возвращает к творческому ответу Сталина. Этот ответ касается того мировосприятия, которое, как мы знаем, возникло в эпоху Просвещения и известно сегодня как мировосприятие модерна. Это мировосприятие проявляется и в духе русской революции, и в динамике, с одной стороны, распада традиционной политической структуры русского общества, а, с другой, становления индустриального общества, без чего невозможно представить процессы российской истории с эпохи Александра II и кончая сталинской коллективизацией. Но это мировосприятие существенно приблизило и, можно сказать, ускорило процесс расхождения между культурой, с одной стороны, и цивилизацией, с другой. Такой процесс весьма характерен для финальных периодов существования великих культур, которые Шпенглер и называет эпохами цивилизации как финальными эпохами в жизни больших культур.

Прежде всего рассмотрим деятельность Сталина, когда он становится политиком, от решения которого зависит стратегический курс страны. С самого начала придется заявить о расхождении между официально пропагандируемыми установками Сталина как политика, остающегося верным делу Ленина и, естественно, революции, с одной стороны, и реальными действиями Сталина, с другой. Возможно, именно потому, что со Сталиным связан альтернативный «творческий ответ», он не смог проявить себя в тот период, когда Россия переживала бурный революционный подъем. Этот подъем, как уже отмечалось, потребовал от политиков максимального напряжения. Их одаренность как ораторов и журналистов способствовала тому, что они в результате стихийных порывов массы стали известными и популярными. Дело здесь не в том, что Сталин не обладал ораторским дарованием, был заурядным и необразованным человеком, что не позволяло ему выдвинуться в первые ряды, как это утверждает Л. Троцкий. Судя по всему, он не был ни идеалистом, ни утопистом, а трезвым и хладнокровным стратегом макиавеллистского типа. Л. Троцкий утверждает, что Сталин опасался массы, не любил массу. Он это подчеркивает, чтобы отождествить Сталина исключительно с бюрократическим аппаратом и представить его антагонистом тому пониманию революции, которое характерно для самого Л. Троцкого, т. е. понимания революции как свободы, как массовой стихии, когда определяющей творческой силой является сама эта стихия, а не императивы вождей. Это, как нами уже отмечалось, стихия Ленина и Троцкого, способных улавливать все трансформации этой стихии и реагировать на них.

Но альтернативность курса Сталина вовсе не объясняется лишь оппозицией «стихийность-бюрократия», что характерна, в том числе, и для революции. Все дело в том, что пытающийся вернуть биографию Сталина к реальности, Л. Троцкий деятельность Сталина оценивает и с точки зрения революционного утопизма, и с точки зрения революции как таковой. В 1940-м году Л. Троцкий все еще мыслит в духе тех речей, которые он произносил перед возбужденной во время революции массой и которые были возможны лишь на первом романтическом этапе революции. Несмотря на свою проницательность, а также на проработку многих уже изъятых в период возвеличения Сталина из употребления документов, как и на свидетельства людей, хорошо знавших Сталина, Л. Троцкий не мог дать исчерпывающую характеристику Сталина, ибо вождя можно оценить не с точки зрения уходящих в прошлое утопических идеалов революции, а с точки зрения того следующего «творческого ответа», который Сталину приходилось давать в постреволюционный период, когда стало очевидным, что революция завела общество в тупик.

Этот творческий ответ был связан уже не с идеалами революции, уходящей в прошлое. Его следует рассматривать с точки зрения начинающегося нового этапа, когда происходило трезвое, даже прагматическое переосмысление того идеализма и того утопизма, которые сопровождали революцию. Точнее, с точки зрения преодоления того кризиса, который был следствием революции. С точки зрения Л. Троцкого, Сталин выступает могильщиком идеалов революции и уж точно милого сердцу Л. Троцкого романтического периода революции. Уже на рубеже 20–30-х годов, когда обозначился кризис революции, возникает необходимость в новом творческом ответе, а, следовательно, в новом курсе. Предполагает ли этот новый курс продолжение реализации революционных идеалов или же, наоборот, демонстрирует от них отказ? На уровне пропаганды мы имеем восторженную оценку нового курса, что понятно, а на самом деле, объективно этот курс, уже всецело определяемый Сталиным, означал отказ от революционных идеалов. Выход из кризиса предполагал, как это вытекает из действий Сталина, спасение не лозунгов революции, а спасение страны. Но в связи с назревающей второй мировой войной спасение следует понимать уже в цивилизационном смысле. Вождю это спасение представлялось с помощью реабилитации империи, а, следовательно, укрепления государственности. Но укрепить государственность можно было лишь наращивая бюрократию, которую сам Сталин критиковал, но, с другой стороны, которую укреплял.

Таким образом, Сталин преодолевал установки революции, возвращая страну к той самой политической структуре, которую революция ставила своей целью разрушить. Иначе говоря, укрепление государственности возвращало к имперской структуре. Но возвращение к империи означало не просто измену революционным идеалам, но преодоление той системы идей, которую мы и называем модерном. А вот этот аспект творческого ответа Сталина имел отношение уже не только к России. Философы Просвещения, определившие дух изменений в два последних столетия, уж никак не могли связывать будущие общества с возвращением к имперским структурам, что означало не прогресс, а регресс. Таким образом, измена революции оказывалась в то же самое время и преодолением идей модерна. Курс Сталина предполагал и то и другое – и измену революции, и измену модерну.

Можно утверждать, что в этом курсе было свое рациональное зерно. Ведь в реальности революция не может быть целью, а только средством. Целью может быть лишь выживание людей, т. е. социума. Сталин, может быть, и преследовал решение этой задачи. Только он эту задачу решал с помощью построения жесткой государственной машины, ради которой многое приносилось в жертву. Оправдание этому он находил в прошлом. В этом смысле в его курсе можно уловить рациональное зерно. Следовало спасать цивилизацию, а не революцию. Спасать людей, оказавшихся в экстремальной ситуации. В данном случае спасение не следует связывать лишь с войной, но и тупиком революции, из которого следовало выходить. Ведь революция замышлялась ради людей и их свободы. Однако путь к этому спасению оказался трагическим. Он прокладывался через чудовищные жертвоприношения людей. Если допустить, что Сталин спасал русскую цивилизацию, то цена этого спасения оказалась слишком дорогой. Эта цена – устранение не только людей, но и разрушение нравственных ценностей, без которых цивилизация выжить не может.

Преодолевая революцию, Сталин занимает критическую позицию и по отношению к модерну, хотя, конечно, в этой системе интерпретации вождь не мыслил. Но модерн – не просто новая философская и политическая доктрина. Она возникла, как было уже отмечено, как выражение западной ментальности, а западная ментальность явилась, как известно, альтернативой византийской ментальности. Недоверие Сталина к Западу вытекает также из этой исторической оппозиции «Запад-Византия», смысл которой Сталин, возможно, не осознавал. Деятельность Сталина преодолевает этап истории, определяемый вестернизацией мира, возвращая к альтернативе, которая в позднюю эпоху истории успела уйти в подсознание. Может

быть, в большей степени это византийское наследие оставалось еще живым в «третьем Риме», т. е. в России. Сталин это наследие оживил, выводя его из подсознания. Вот и А. Тойнби пишет: «Как под распятием, так и под серпом и молотом Россия – все еще «Святая Русь», а Москва – все еще «третий Рим» [Тойнби 2003: 381].

Иначе говоря, все возвращается на круги своя. Но это возвращение уже начиналось во время первой мировой войны, когда развертывалось возрождение славянофильских идей. Это возвращение тогда наталкивалось на мощные барьеры, ибо, как писал В. Розанов, «германский червь хорошо ел и давно ел русскую почву» [Розанов 2008: 413]. Под немецким червем философ явно имел в виду в том числе и Маркса. «В эпоху гигантской борьбы с Германией, – пишет В. Розанов, – когда, казалось бы, вся Россия должна вспыхнуть славянофильством, по крайней мере, должна бы вспыхнуть чисто русскими воззрениями, чувствами, складом мышления, – сколько угодно есть журналов для марксизма, сколько угодно есть журналов для социализма, русскому чувству – нет места» [Розанов 2008: 413].

Но этому возвращению в «третий Рим» некоторые политические лидеры могут способствовать. Точнее это возвращение они разгадывают и в ситуации упадка в Средневековье, что совершается в XX веке почти повсеместно, становятся выразителями регрессивных тенденций в истории. Это вовсе не означает, что эти регрессивные тенденции являются реакционными. Регрессивными они кажутся лишь с точки зрения модерна. Но ведь в XX веке уже давно началось переосмысление и модерна. В данном случае при аксиологическом подходе к понятиям «прогресс» и «регресс» необходимо исходить из того, что арбитром может быть лишь культура. В реабилитации культуры регресс может сыграть не менее позитивную роль, чем превозносимый представителями модерна прогресс. Вот деятельность Сталина как раз и связана с реабилитацией ценностей «третьего Рима» и, более того, с «третьи Римом» как ценностью.

Выводя многое из того, что имеет место в истории России, из давления на Россию западной цивилизации, А. Тойнби пытается показать, что утверждение в России тоталитаризма тоже является следствием такого давления Запада. Собственно, для А. Тойнби то, что в отношениях между Россией и Западом происходило после второй мировой войны, – следствие многовекового давления Запада на Россию и, естественно, сопротивление России Западу, что и привело к тоталитарной тенденции. «Наше нынешнее беспокойство по поводу угрозы, исходящей, по нашему мнению, от России, кажется нам вполне оправданным, – пишет он. – Однако мы должны внимательно следить за тем, чтобы изменение знака в отношениях России и Запада после 1945 года не увело нас в сторону и не заставило в наших естественных заботах о настоящем забыть о прошлом. Если мы посмотрим на столкновение между Россией и Западом глазами историка, а не журналиста, то увидим буквально целые столетия вплоть до 1945 года у русских были все основания глядеть на Запад с не меньшим подозрением, чем мы сегодня смотрим на Россию» [Тойнби 2003: 438].

Как мы убеждаемся, касаясь отношений между Россией и Западом, А. Тойнби исходит из идеи столкновения цивилизаций. Укрепление централизованной власти в России стало уже традицией, и эта традиция сохранялась на протяжении столетий. Вот вывод А. Тойнби, подтверждающий мысль Н. Бердяева об амбивалентном отношении русских к своему государству. «Вероятно, эта русско-московская традиция (речь идет о централизованной власти – Н. Х.) была столь же неприятна самим русским, как и их соседям, однако, к несчастью, русские научились терпеть ее, частично просто по привычке, но и оттого, без всякого сомнения, что считали ее меньшим злом, нежели перспективу быть покоренными агрессивными соседями» [Тойнби 2003: 438].

Уже на протяжении 30-х годов Сталин реабилитирует политических и военных деятелей прошлой России. Этот процесс реабилитации развертывается параллельно тому, что

имеет место после прихода к власти Гитлера. А после этого прихода начинает реализовываться та часть программы И. Фихте, которая касалась возрождения немецкого духа с помощью обращения к истории. В данном случае идея И. Фихте не противоречила симпатии романтиков к Средневековью. «Среди частных и особенных средств к тому, чтобы вновь поднять немецкий дух, – пишет И. Фихте, – весьма сильным средством было бы, если бы у нас была воодушевляющая история немцев этого периода, которая в таком случае стала бы национальной и народной книгой, подобно Библии или книге церковных песнопений, до тех пор, пока мы сами не произвели бы на свет нечто достойное пера историка. Только подобная история должна была бы не просто перечислять деяния и события на манер хроники, но должна была бы, дивно волнуя нас и незаметно и неосознанно для нас самих, перенести нас в гущу жизни того времени, чтобы нам казалось, будто мы и сами ходим, стоим, решаем и действуем с этими людьми, и добиться этого она должна не детскими и игривыми вымыслами, как делали столь многие исторические романы, но силою самой истины» [Фихте 2008: 117].

И. Фихте здесь явно имеет в виду вовсе не исторические изыскания и философские спекуляции, а искусство. Пытаясь укрепить национальный дух, национал-социализм сознательно обратился к столь любимому романтиками Средневековью. Романтизм и вводился в политическую программу национал-социализма, и, естественно, переосмыслялся. Идеолог этой системы идей А. Баумлер пишет: «Романтизм же рассматривал человека в свете его естественных и исторических связей. Романтизм открыл наши глаза на тьму, на наше прошлое, на предков, на мифы и народ. Направление, идущее от Гердера до Герре, до братьев Гримм, Айхендорфа, Арнима и Савиньи, представляло собой духовное движение, сохранявшее свою живучесть и до сего дня» [Моссе 2010: 130]. Ориентацию на предков Гитлер с самого начала включал в коллективную идентичность немцев. Можно предположить, что именно Гитлер обратил внимание Сталина на то, что без предков новый социум строить невозможно, как невозможно заземлять и укреплять идентичность, столь необходимую в преддверии смертельной схватки и установки на взаимоуничтожение.

Так, Сталин решительно пересматривал имевшее место в среде старой гвардии большевиков презрение к истории. Критика спектакля «Богатыри» Камерного театра в 1936 году, в котором были пародированы хрестоматийные сюжеты и образы русских былин [Богданов 2009: 105], в этом смысле – весьма красноречивый пример, давший сигнал для искусства. Он решительно диктовал новую установку. Интонация трикстера, столь ощутимая в кино до этого времени при воссоздании русского богатырского эпоса, оказалась неуместной. Необходимы были героические идеалы, а не носители антиповедения. Так возникает галерея исторических деятелей в их экранном воплощении (Александр Невский, Кутузов, Суворов, Минин и Пожарский и т. д.).

Затрагивая эту тему реабилитации некоторых фигур российской истории, К. Симонов иллюстрирует утилитарный подход к этой реабилитации. Имея в виду актуальность исторической памяти в современной политической ситуации, он пишет: «Это можно проследить по выдвинутым им (Сталиным – Н. Х.) для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти – Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то, в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих орденов будет высшим,

была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь» [Симонов 1990: 166].

Однако такой творческий ответ Сталина еще в предвоенные годы, да и в годы войны вовсе не сводится к реабилитации выдающихся героев российской истории. Сталин реабилитировал империю как таковую, а вместе с ней и определяющую для российской ментальности византийскую традицию. Об этом красноречиво свидетельствует задуманная Сталиным реабилитация русского царя Ивана Грозного, о чем свидетельствовал фильм С. Эйзенштейна. На короткое время эти действия Сталина, действительно, воспринимались тем, что А. Тойнби подразумевает под творческим ответом. Реабилитируемая Сталиным византийская традиция, реализуемая в видении государственности, не позволила состояться первому варианту развития послевоенной истории, т. е. варианту, связанному с лидерством России. Второй, т. е. американский вариант для народов мира, оказался притягательнее. Реальность этого варианта мы ощущаем до сих пор.

Возможно, тот начавшийся с некоторых пор в мире хаос еще потребует осмысления под углом зрения роли в возникновении этого хаоса, подающегося как либеральный космос, Америки, как судьбы столь удачно начавшего реализовываться второго варианта в развитии мировой истории. Именно творческий ответ Сталина как раз и свидетельствует о расхождении между проектом модерна и имперским императивом. Конечно, эти вещи несовместимы. Реабилитация имперского комплекса хотя и оказалась спасительной, но она кардинально расходилась с идеалами и русской революции, и с проектом модерна. Творческий ответ Сталина демонстрировал крах модерна. Он произошел именно в России. Вот почему происходящее в России выявило смысл целой эпохи в истории Запада.

Смысл проекта модерна заключался в перечеркивании прошлого, истории и культурной традиции. На место опыта предшествующих поколений в нем оказался опыт прогресса. Модерн утверждает оппозицию всей отвергнутой и преодолеваемой эпохе, провозглашая начало новой эпохи, в которой развертывается секуляризация и происходит угасание сакрального. Мир модерна провозглашает открытость будущему. Начальным этапом модерна считается Просвещение и Французская революция [Хабермас 2003: 12]. Большевизм не был самостоятельным движением по отношению к модерну. Он был частным выражением духа переустройства мира на основе разума. К реализации этой идеи модерна двигались многие поколения XX века, начиная с последователей в России Ш. Фурье, продолжая нигилистами и анархистами, народниками и террористами. Большевизм подхватывал все эти настроения, превращаясь в машину реализации проекта модерна в местных условиях. Ради торжества этого проекта были разрушены многие традиционные ценности, в том числе практически все, что успело сформироваться в доиндустриальной цивилизации, когда народ был преимущественно земледельческим народом.

Разрушение с начала 30-х годов деревни было, может быть, самой разрушительной акцией, предпринятой ради утверждения проекта модерна. Потом один из самых ярких писателей – деревенщиков В. Астафьев представит этот процесс разрушения традиционных ценностей таким образом. «Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя. Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармоед, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достояние – хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать крестьянина от плуга, плевать в руку, дающую хлеб. Крестьянам сказать бы: «Хочешь хлеба – иди и сей», да замутился их разум, осатанели и они, уйдя вослед за галифастыми пьяными комиссарами от земли в расхристанные банды,

к веселой, шебутной жизни, присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье» [Астафьев 2016: 222].

Таким образом, с точки зрения доиндустриальной культуры революция и ее достижения представлены как страницы в истории не падения, а регресса человека и человечества. Главный лидер коммунистических идей принес «бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание хлебное поле» [Астафьев 2016: 222].

Весь ленинский период истории, включая сюда и революцию, оказался связанным с идеей реализации модерна. Но в ленинский период проект модерна опирался исключительно на пассионарный авангард, а не на имперскую машину. Как пишет В. Гроссман в своей повести «Все течет», в цели Ленина утверждение государства вовсе не входило. Когда же пассионарная энергия покинула элиту, следовало опираться на что-то другое. Этим другим стала имперская традиция. Но она оказалась не спасителем, а гробовщиком модерна. Дух модерна овладел русскими пассионариями и многое в истории XX века определял. Нельзя сказать, что носителями его были исключительно пассионарно настроенные носители модерна. Несомненно, какое-то время казалось, что идеи разрушения созвучны и народу.

Как показал Н. Бердяев, русский народ – не является мещанским народом. Ему чужда мещанская середина. Это психология конца. В ментальности русского человека есть особая лиминальная нотка. Он предпочитает жить по принципу перманентного перехода. Ему ненавистны иерархические отношения и социальные роли. Он предрасположен к постоянному выходу из них. Но в мирное время такой возможности в условиях тоталитарной власти не представлялось. Именно это обстоятельство и является для него часто роковым. Ведь народ, который не ценит сложившиеся отношения, воспринимает их бременем, рискует попасть под власть диктатора. Таким образом, модерн, как новейшая система идей, ставшая для последующих революций во многих странах отправной точкой, оказался созвучным и некоторым комплексам народной массы. Он не был связан лишь с революционными установками русской интеллигенции и правящей элиты.

Однако спрашивается, как долго могли владеть идеи модерна как элитой, так и массой? Ведь уже Ленин ощущал, что идеи модерна выдыхаются и вводит новую экономическую политику. Но и до Ленина в среде интеллигенции происходит раскол, о чем свидетельствует выход в 1909 году сборника «Вехи». В нем публикуются статьи бывших адептов идеи социализма С. Булгакова и Н. Бердяева, отошедших после 1905 года от этой идеи и спешащих предупредить о надвигающейся катастрофе. К концу 20-х становится ясно, что идеи модерна мало что могут дать человеку. Утрачивая веру, а вместе с тем и нравственность, люди оказываются напрямую связанными с властью. Их поведение регулируют уже не нравственность и культура, а государство. А это означает, что бюрократия активизируется.

Таким образом, отправленная в отставку культура, а в нее входит и религия, приводит к необходимости устанавливать порядок административными средствами. Так происходит активизация бюрократии, а, следовательно, государства. Общество скатывается к тому, от чего оно до непосредственной реализации проекта отказывалось. Ведь это именно из модерна вышла идея разрушения. Но вместе с активизацией государства становится реальным и сопровождающий это государство архетип «третьего Рима». В пространстве осуществления проекта модерна человеку становится неуютно. Следствием разрушения старого государства оказывается не демократия, а бюрократия. Собственно, уже в конце 20-х годов становится очевидным кризис проекта модерна в его русском варианте. И тогда начинается курс Сталина, решившегося на парадоксальный симбиоз.

Сталин решает продолжать реализовывать проект модерна, как он был задуман старой гвардией большевиков, но под этот проект он должен был подвести имперскую идею. Тем более, что он не мог не осознавать, как воспринимается на Западе большевистский модерн. Он не мог не принимать во внимание то, что происходит в Германии. Когда Сталин реабилитирует историю и представляющих ее политических и военных лидеров, это не могло не удивлять старую гвардию большевиков. Но ему было на это наплевать. Он хотел опереться на массу, а не на первое поколение большевиков. Поэтому он и обрушил на это поколение, как и на его ведущих лидеров, террор. В этом он подхватил идею Л. Троцкого о необходимости омоложения партии и провел ее в жизнь.

Об этом отходе от идеологии, напугавшей народ уже в предшествующий период, и реабилитации истории А. Солженицын в «Письме вождям Советского Союза» пишет так: «Когда началась война с Гитлером, Сталин, так многое пропустивший и погубивший в военной подготовке, этой стороны идеологической, не упустил. И хотя идеологические основания для той войны казались несомненнее, чем ожидающие вас, – война велась против идеологии, по внешности диаметрально противоположной, – Сталин от первых же дней войны не понадеялся на гниловатую порченую подпорку идеологии, а разумно отбросил ее, почти перестал ее поминать, развернул же старое русское знамя, отчасти даже православную хоругвь, – и мы победили! Лишь к концу войны и после победы снова вытащили Передовое Учение из нафталина» [Солженицын 1995: 156].

Получалось так, идеи модерна исключали реальность всякой империи и преследовали достижение свободы личности. Какая же свобода в империи, когда в ней торжествует принцип классицизма, т. е. принесения жизни личности в жертву государству. Под эту систему идей Сталин подводил фундамент империи. Ему казалось, что только так можно было преодолеть кризис модерна, очевидный уже к концу XIX века. Но ведь это означало измену тем идеям модерна, во власти которого пребывали многие поколения людей в разных странах, в том числе и в России. В мире развертывались такие процессы, что спасать нужно было уже не модерн, а жизнь целых народов. Эта ситуация явилась логическим продолжением идей модерна, похоронивших всю предшествующую историю и культуру.

Сложилась парадоксальная ситуация. Сталин мог спасти проект модерна, лишь изменяя ему и возвращая народ к имперской идее, которая в определенном смысле и есть русская идея, в соответствии с которой судьба народов мира оказывается в зависимости от способности русского народа сохранить мир. Это знакомая по средним векам мессианская идея третьего Рима, ставшая выражением ментальности русского человека, а не только правящей элиты. Таким был творческий ответ правящей элиты и, точнее, главного ее представителя – вождя.

В поле нашего зрения оказывается вторая мировая война, явившаяся способом испытания на прочность творческого ответа, данного вождем в довоенные годы. Сложность возникает в силу того, что данный вождем творческий ответ уже, в отличие от первоначальных попыток реализовать модерн, развертывался с опорой на массовое сознание. Пытаясь реабилитировать имперскую идею, Сталин явно имел в виду то, что она не чужда и самой массе. В этом следует отдать должное проницательности Сталина. Вождь хотел заземлить идею модерна, сделать ее выражением духа массы, ее древней ментальности. Отсюда реабилитация строителей российской империи – государственных мужей и полководцев, выигравших войны, что происходило еще до войны.

Вторая мировая война должна была продемонстрировать, насколько мудрым явился творческий ответ вождя, а он, как уже отмечалось, не был придуман им самим, а извлечен из ментальности народа. На этот раз идея модерна не была искусственно привнесенной в культуру и ментальность, возникнув в сознании творческой и философской элиты. Поэто-

му во второй мировой войне испытание было испытанием уже не только мудрости вождя и не истинности идеи модерна. Исход войны зависел от духа самого народа. Именно этот дух народа и должен был в данной войне решить исход. Вот только в этом случае от идеи модерна уже ничего не оставалось. Мыслимая Сталиным империя как средство реализации идеи модерна в новых условиях трансформировалась из средства в цель. С проектом модерна пришлось распрощаться. Приходится констатировать, что все, что шло от элиты и самого вождя, в этой войне не было определяющим. Проект модерна уже нельзя было гальванизировать. Вторая мировая война окончательно похоронила не только идею большевизма, но и идею модерна, во всяком случае, для русских. К сожалению, так на реальность этой войны пока мало кто смотрел. И вовсе не с оттепели все началось, как считается. Творческий ответ, данный Сталиным ради спасения модерна, оказался не в пользу модерна. В этой войне модерн окончательно рухнул. Он больше не возродится. В очередной раз его возродит лишь Америка, повторяющая творческий ответ, данный еще мудрым вождем, подведшим под этот проект имперский фундамент, что мы сегодня и можем наблюдать.

Проект модерна, реализовывавшийся в России большевиками, не привел ни к освобождению, как это мечталось в XIX веке, ни к процветанию. Разрушение государственности, предпринятое в соответствии с критериями разума, привело к возникновению еще более жесткой и искусственной государственности, не опиравшейся на традиции прошлого, традиции культуры. Несмотря на то, что победа во второй мировой войне была победой народа, она была присвоена элитой и, в частности, самим генералиссимусом. Как это происходит, объяснил еще Гегель, когда писал, что «удачные войны не давали развиться внутренним смутам и укрепляли государственную власть» [Гегель 1934: 345].

Да, спровоцировав ментальные структуры народа и воспользовавшись этим, Сталин войну выигрывает. Победа над немцами укрепляет его власть. В. Гроссман описывает переживания Сталина в момент окружения немцев под Сталинградом так: «Это был час его торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохраняют спокойную немоту. Он знал лучше всех в мире: победителей не судят» [Гроссман 1988: 614]. Поведение Сталина в ситуации войны было тщательно продумано. Набрасывая его портрет, И. Эренбург пишет: «Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства» [Эренбург 1990: 232].

Так он приватизировал победу. «Гитлеровцы напали на нас врасплох. Сталин вначале растерялся, – пишет И. Эренбург, – не осмелился сам сказать о нападении, поручил это Молотову; потом, видя, что, несмотря на героизм советских солдат, фашисты быстро продвигаются к Москве, Сталин обратился к народу, мы были произведены в «братьев и сестер» бога» [Эренбург 1990: 233]. Как пишет И. Эренбург, летом 1942 года Сталин старался держаться в тени, и в газетах редко появлялось его имя. Как отмечал Л. Троцкий, в ответственных ситуациях он часто уходил в тень и умел это делать. Так комплекс, проявившийся еще в годы революции, в данном случае проявился сполна. Однако успехи армии позволили ему активизироваться. «Культ был восстановлен сразу же после разгрома немцев на Волге. Победил народ, тот, что воевал, строил заводы, копал канавы, прокладывал дороги, жил впроголодь, но не падал духом. А газеты писали о победе «гениального стратега» [Эренбург 1990: 233].

Но победа Сталина – кажущаяся победа. В войне произошло то, что не исчерпывается укреплением государственной власти, интересами диктатора. Последствия войны гораздо значительней. Вызвав к жизни ментальные структуры, Сталин на самом деле поставил на проекте модерна крест. Будучи в ходе войны вызванными к жизни эти структуры продолжают выходить в сознание и, несмотря на кратковременное укрепление власти, начали приходить в противоречие с политической и идеологической системой. Установки Сталина спро-

воцировали напряжение между идеологией и культурой. В первые послевоенные годы это еще не ощущалось. Но этот процесс развертывался на протяжении всей второй половины XX века. Но истоком все же был перелом в ходе войны – Сталинград.

Имея в виду окруженную немецкую армию, В. Гроссман пишет: «Солдаты и офицеры окруженных армий переоценивают не только силы сражающихся войск, перспективы войны, но политику государства, обаяние партийных вождей, кодексы, конституцию, национальный характер, грядущее и прошлое народа» [Гроссман 1988: 615]. Но проблема не сводится к психологии побежденных. Война, потребовавшая колоссального напряжения, изменяет и психологию победителей. Здесь тоже происходит трансформация сознания и переоценка прошлого. Этот аспект В. Гроссман также не упускает из вида. «И именно в пору сталинского перелома, в пору, когда пламя Сталинграда было единственным сигналом свободы в царстве тьмы, открыто начался этот процесс переосмысления» [Гроссман 1988: 623].

Почему же этот процесс не совершился сразу, а растянулся на десятилетия? Этому есть объяснение. Получить ответ на этот вопрос помогает наша современная ситуация, для которой характерна ностальгия по распадающейся империи. В данном случае необходимо говорить об амбивалентном отношении человека массы к империи. С одной стороны, он от империи страдает, а, с другой, ее установки и лозунги тешат его самолюбие. Человеку массы в империи комфортно. На протяжении последующих за окончанием войны десятилетий он, проклиная ее, все же продолжает поддерживать, не мысля себя вне империи. Вот эта амбивалентность и способствовала продлению созданной Сталиным империи. Это противоречие особенно острым оказывается с эпохи оттепели. Культура, вытесненная в сторону большевистскими экспериментами, берет реванш. Начинается ее активная реабилитация.

В этом смысле показательны и процессы реабилитации церкви. Чем активнее развертываются эти процессы, тем становится все более очевидным, что возникший в эпоху Просвещения проект модерна окончательно предается забвению. Постепенно становилось понятным, что война оказалась поражением и Сталина, и вообще большевизма, новую, т. е. имперскую редакцию которого предпринял Сталин. Но, как уже отмечалось, поражение Сталина и большевизма понятно лишь на фоне более универсального процесса – краха идеи модерна, реализация которой привела к разрушению основ жизни, а, следовательно, культуры. Чтобы иметь возможность выживать, человечество должно опираться не только на государство, но и на культуру. Это стало очевидным уже в ходе войны. Это ощущал уже и Сталин, реабилитируя религию как ядро культуры.

Реабилитация Сталиным имперского комплекса было последней вспышкой этого спровоцированного властью комплекса. Было очевидно, что в противостоянии немцам империя израсходовала всю пассионарную стихию. Чем очевидней становилось угасание империи, тем сильней заявляла о себе культура. Конечно, силы на укрепление империи иссякают, хотя в сознании и в еще большей степени в подсознании имперский комплекс продолжает существовать. Затрагивая эту болезненную тему в речи, произнесенной на ассамблее выпускников университета в Гарварде в 1978 году, А. Солженицын говорит: «Нет у нас сил на Империю! – и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель… Держать великую империю – значит вымертвлять свой собственный народ» [Солженицын 1995: 542]. Казалось, что имперский комплекс, спровоцированный курсом Сталина и получивший выражение в возведении жесткой государственности, позволил реализовать ментальный комплекс русских. Но, как показало время, он привел к максимальной трате их пассионарной энергии. Как со временем становится очевидным, следование этому курсу становится опасным.

9. А был ли «творческий ответ» Сталина?

До сих пор мы пытались показать, что Сталин, как один из самых известных в XX веке политиков, дал новый творческий ответ на вызов истории, а этим вызовом явилась очередная вспышка в истории столкновения цивилизаций. Этот его творческий ответ был связан уже не прогрессом как ключевым понятием модерна, а с регрессом. Но, как известно, история не развертывается в соответствии с линейным принципом. В ней имеет место нелинейный, т. е. циклический принцип. Поэтому регресс также закономерен, как и прогресс. Тем более, если речь идет о выживании целых народов. Ради спасения российской цивилизации Сталин в экстремальной ситуации, когда давление Запада на этот раз перерастало в военное столкновение, вернул традиционную для России форму государственности, тем самым воскрешая ее византийские основы.

Однако можно ли это возвращение к основополагающим для российской цивилизации формам называть творческим ответом? Ведь творческий ответ связан скорее с появлением такого варианта, который в истории еще не имел место и который обращен в будущее. Скорее может показаться, что такой творческий ответ давали Ленин и Троцкий. Но соответствовала ли политика Ленина и Троцкого творческому ответу? Смысл творческого ответа Сталина заключался, может быть, как раз в том, что ему пришлось пожинать плоды того творческого ответа, который был дан Лениным и Троцким, а точнее, Сталину пришлось выводить из того тупика, в который завела революция. И думать следовало уже не о революции, а о цивилизации. Тут-то и возникает возможность того странного отношения к революции, которое описал Л. Троцкий, имея в виду отсутствие активности Сталина в самых известных революционных событиях.

Ради того, чтобы российская цивилизация не исчезла, ему снова пришлось возродить то, чего никакая революция не могла ставить своей целью и что было чуждо самой ее природе. Цивилизацию удалось спасти, но какой ценой? Ценой отказа от свободы, что в истории России случалось и раньше. Так стоило ли совершать революцию, чтобы вернуть ее не только к исходной точке, но и к средневековым формам государственности? Единственный вывод, который можно сделать из политического опыта большевизма как в его ленинской, так и в сталинской форме, это вывод о несходстве цивилизаций России и Запада, ставший уже традиционным. Так история XX века вновь продемонстрировала то, что знали и в предшествующие столетия, но на этот раз это имело место в беспрецедентно жестоких формах. Следовательно, вина за многочисленные жертвы, что имели место в России, несет не только Сталин, но и Запад.

Что же касается победы во второй мировой войне, то в ее осмыслении может помочь позиция Л. Толстого, изложенная им в романе «Война и мир». Войну выигрывают не государственные мужи, а обладающий определенной ментальностью народ, а, следовательно, культура. А если так, то мы уже вправе сформулировать: а был ли вообще у Сталина творческий ответ? Был ли он? Последующая история России разворачивается в направлении реабилитации того, что было уничтожено и разрушено в ходе реализации проекта модерна. Эта реализация далеко выходит за пределы XX века. Чтобы точнее представить роль народа во второй мировой войне, необходимо понять и генезис той традиции, которая в ходе войны активизировалась, проявившись в активности народа. Генезис же этой традиции связан с противостоянием модерну, а это противостояние имеет длительную историю, началом которой является романтизм.

Начиная с рубежа XVIII–XIX веков, в мировой истории возникает альтернативная по отношению к модерну традиция. Эта традиция отвергает футуризм, т. е. обращенность в будущее модерна, свидетельствующую о его утопичности. Романтическая традиция, наоборот,

исходит из ценности прошлого. Она ориентирована на сохранение культуры. Противостояние модерна и романтизма не было чисто западным явлением. Оно имело резонанс и в России, расколов интеллигенцию на западников и славянофилов. Западники – это не только те, кто хотел бы направить Россию по западному пути развития, но те, смысл деятельности которых связан с реализацией идеи модерна. Как свидетельствует история реализации этой идеи, модерн изымает человека из культурной, религиозной и национальной стихии. Идентичность человека модерна связана, прежде всего, с разумом и идеологией. Не случайно для всех носителей модерна на первый план выходит идея нового человека, его воспитание и перевоспитание.

Наш российский романтизм связан со славянофильской традицией, исключающей имперскую идею. Именно поэтому славянофилы критически оценивали роль Петра I в истории. Они культивировали средневековые ценности, связанные с народом, религией и культурой. Вот эта традиция в ходе войны и заявила о себе, поскольку стало очевидным, что ни прогрессивная идея, ни государство как институт, ни первое лицо государства не решают исход дела, не помогают выжить людям в экстремальной ситуации. В этой ситуации срабатывает древнейший механизм культуры. Решающую роль в этой войне сыграло не государство, а культура, т. е. то, что было сформировано в истории.

О том, какой слом произошел в ходе войны, будет свидетельствовать последующая история. А она будет демонстрировать реабилитацию именно романтической традиции, связанной с активизацией национального и религиозного фактора. А. Янов справедливо свидетельствует, что в эпоху оттепели возникает новое славянофильство. Лидером славянофильских, а точнее романтических настроений во второй половине XX века, с его точки зрения, будет А. Солженицын. Между тем, именно война стимулировала пробуждение национального комплекса, и это обстоятельство констатирует В. Гроссман. Как пишет В. Гроссман, с этого времени русские люди стали по-новому понимать себя («История России стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских крестьян и рабочих. Национальное из элемента формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания» [Гроссман 1988: 622].

Конечно, как свидетельствовала еще популярность С. Есенина в 20-е годы, этот процесс уже имел место, но он сдерживался. В. Гроссман точно говорит, что он имел место не столько в сознании, сколько в подсознании. Иное дело – война. «Война ускорила процесс переосмысления действительности, подспудно шедший уже в довоенное время, ускорила проявление национального сознания – слово «русский» вновь обрело живое содержание. Сперва, в пору отступления это слово связывалось большей частью с отрицательными определениями: российской отсталости, неразберихи, русского бездорожья, русского «авось»… Но, появившись, национальное сознание ждало дня военного праздника. Государство также шло к самосознанию в новых категориях. Национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий. Народное национальное сознание в такую пору прекрасно потому, что оно человечно, а не потому, что оно национально. Это – человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, проявляющееся в форме национального сознания» [Гроссман 1988: 623].

Как бы Сталин ни приватизировал победу, уже в годы войны он оказался не ведущей, а ведомой фигурой. Почему? Да потому, что идеология, которую навязывала власть, а она возникала на основе императивов модерна, не мобилизовала людей на противостояние. Она не могла обеспечить победу. Победу мог обеспечить лишь дух народа. Следует отдать должное Сталину, что он сам этот понял еще до войны, дав сигнал искусству реабилитировать историю. На нашем экране появились герои победоносных войн прошлого. Пытаясь понять этот «творческий ответ» Иосифа Сталина, Д. Андреев пишет об этом открытии в сознании

вождя значимости национального импульса. Имея в виду Сталина, он пишет: «Он, несколькими годами раньше, из побуждений, недалеких, очевидно, от хулиганской потребности колотить зеркала и разбивать статуи, сносивший безо всякой нужды памятники русского зодчества, превративший черт знает во что храмы и монастыри, а иные гражданские сооружения уничтоживший под предлогом выпрямления улиц (то есть ради злосчастной идет «прямолинейности»), – теперь вдруг обратился к национальному прошлому России, реабилитировал целый пантеон русских государственных деятелей прежних эпох и стимулировал воспитание в подрастающем поколении некоего синтетического – и национально-русского, и интернационально-советского чувства «родины». Он понял, что ввиду предстоящего столкновения с агрессивно-национальной идеологией фашизма не нужно пренебрегать национальным импульсом в собственном народе. Наоборот: следует его расшевелить, разбередить, заставить и его лить воду на ту же мельницу» [Андреев 1991: 224].

К этой переоценке совершенно не были готовы представители старой гвардии большевиков. В сознании большевиков первого призыва – истинных носителей модерна – это была революция. Многие из них оказались в оппозиции по отношению к новому, но консервативному курсу Сталина и за это жестоко поплатились. Так получилось, что в годы войны Сталину пришлось реабилитировать даже религию. Известно, каким гонениям после революции подвергали священнослужителей. Конечно, он вынужден был это делать, поскольку в открытые немцами на оккупированных территориях православные храмы хлынули массы народа. Выяснялось, что не такими уж и атеистами были русские люди. Пришлось возвращать из лагерей даже священнослужителей. Постепенно от реабилитации истории Сталин подходил к реабилитации религии. Встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем в сентябре 1943 года – начало возобновления отношений государства и церкви. Из лагерей возвращались осужденные священнослужители. По всей стране стали открываться православные храмы.

Конечно, этот разворот власти нельзя объяснить лишь проницательностью Сталина и его способности уловить кризис идеологии. Дело в том, что Сталин вынужден был пойти на этот шаг. Этому его решению, противоречащему ранним установкам большевизма, способствовало открытие немцами православных храмов на захваченных ими русских территориях. Эффект от такого решения немцев был значительный. Это способствовало оживлению религиозной жизни. Всего немцы открыли 7 405 храмов. Это событие послужило основой сюжета фильма В. Хотиненко «Поп». Как пишет исследователь, «сводки немецких властей, а также данные советской разведки свидетельствовали о переполненных верующими храмах, о большом количестве исполняемых религиозных обрядов, о многотысячных крестных ходах и молебнах под открытым небом» [Чумаченко 2007].

Естественно, что это не могло не оказаться в центре внимания Сталина. Атеизм, которым кичились большевики, как выяснялось, не затрагивал глубинных структур психологии массы. Нужно было делать выводы, причем, срочно. Они и были сделаны. Но это только свидетельствует о том, что в этой ситуации Сталин был не ведущей, а ведомой фигурой. Вот как это решение Сталина комментирует А. Солженицын. «Накануне войны в Ростове не оставалось ни одной действующей церкви, – пишет он, – они казались закрытыми навсегда. Режим «ликвидировал» Бога – по крайней мере, он так думал. Но я вам скажу, что может вас изумить: когда гитлеровские войска вошли в Ростов, они открыли собор и три-четыре церкви. И толпы буквально бросились в церковь… Это был жестокий провал коммунизма. Впрочем, Сталин не ошибся. Он знал, что делает. Потому он и завел мелодию национализма в то время, как советские войска пытались задержать немецкое наступление. И религию ему тоже пришлось реабилитировать» [Солженицын 1995: 322].

Однако вот ведь что интересно. Открывая церкви, Сталин вовсе не имел намерения предоставить церкви свободу на все оставшееся время. Это была игра, подобная той, что совершал Ленин с новой экономической политикой, которая тоже мыслилась как временная. Но не тут-то было. Как покажет последующая история, выпущенный на свободу религиозный комплекс загнать обратно на место уже было невозможно. Хотя Хрущев после смерти Сталина и пытался это сделать. А. Солженицын проницательно комментирует эту тактическую уловку вождя. Он пишет: «Сам Сталин тоже попался на собственную удочку. Русский народ снова проявился глубоко верующим и русским. Христианство сразу же было воспринято. И с тех пор у нас вера не перестает развиваться, несмотря на преследования» [Солженицын 1995: 322].

Но вслед за реабилитацией религии изменяется и отношение к архитектуре, которую недавно пытались безжалостно разрушать. Так, И. Эренбург пишет, как исчезали памятники старины: Китай-город, Сухарева башня, Красные ворота. «На севере я увидел, с каким исступлением люди разрушали то, что стоило сохранять. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого-семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие триста-четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени… Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим» [Эренбург 1990: 40].

Что же касается второй мировой войны, то ее последствия, в том числе и для России, несмотря на ее победу в этой войне, свидетельствуют, что ее исход решал исключительно народ, демонстрируя массовое жертвоприношение. Решал, опираясь не на идеи модерна, чем жила старая гвардия большевиков, не на большевистскую идеологию как порождение этой идеи модерна. В этой войне русский народ выстоял, утеряв на полях сражений огромное количество жизней. Как это ни странно, но свободу, отнятую у него в период реализации проекта модерна, народ мог проявить исключительно в период войны. Для русских война оказалась пространством свободы. Свободы в условиях постоянно угрожающей смерти. Свобода в смерти. А о том, что только в ситуации войны русский человек может быть свободным, проницательно писал Ф. Достоевский. В своем «Дневнике писателя» за 1876 год Ф. Достоевский сообщает об одном своем знакомом, которого он называет любителем парадоксов. Одним из парадоксов у него была защита войны. Писатель предупреждает, что эта защита объясняется у него единственно, может быть, игрой в парадоксы. Опровергая распространенное мнение по поводу того, что война является бичом человечества, парадоксалист, словно следуя гегелевскому суждению о войне, доказывал, что, наоборот, война полезна. Исключением для него является лишь война междоусобная, братоубийственная. По его мнению, «она мертвит и разлагает государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия» [Достоевский 1981: 123].

Что верно, то верно. Императив гражданской войны в советской империи, кажется, уже пропитал гены русского человека. Мы от этого не избавились до сих пор, о чем свидетельствует новый призыв к созданию сегодня, в начале XXI века, новой идеологии, которая непременно кончится тем, что одни воспользуются ею для подавления других. Но отрицая войну гражданскую, братоубийственную, парадоксалист Ф. Достоевского приветствует войну внешнюю или междоусобную. Парадоксалист убежден (и в этом он явно не разделяет позицию, манифестируемую в романе В. Астафьева), что в войне люди принимаю участие вовсе не потому, что жаждут убивать друг друга. Он говорит: «Никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственною жизнью – вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственною жизнию, отста-

ивая интересы своего отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность» [Достоевский 1981: 123].

В рассуждениях парадоксалиста Ф. Достоевского мы узнаем, однако, знакомые по Гегелю идеи. В самом деле, для парадоксалиста опасаться следует вовсе не войны, а мира, ведь ожесточает людей именно мир, а не война. «Положительно можно сказать, – говорит парадоксалист, – что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, – главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир – все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают все… Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скоромных, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость» [Достоевский 1981: 124].

Собственно, война как контраст миру, в котором есть не только позитивное, но и негативное, предстает и у Р. Кайуа. Во-первых, война разрушает частную жизнь и создает лиминальную ситуацию («Война грубо разрушает тот мирок свободы, который человек создает вокруг себя для собственного удовольствия и считается с правом своего соседа на такой же мирок. Она прерывает блаженство и ссоры влюбленных, интриги честолюбца и молчаливое творчество художника, ученого или изобретателя» [Кайуа 2003: 279]. Это ситуация повышенной социализации, растворения лишающегося всего человека в массе, коллективного возбуждения, формы которого знакомы человечеству с древности.

В этом смысле Р. Кайуа и приравнивает войну к празднику как форме максимального коллективного возбуждения. Не случайно А. Блок именно так воспринимал войну. Вот что пишет, в связи с этим, в своем дневнике З. Гиппиус. «Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (Он там в Земсоюзе, что ли). Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы (В начале-то на войну, как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: Весело!» [Гиппиус 1991: 320]. Война может восприниматься как праздник, поскольку предстает состоянием, когда рушатся все твердо установленные в социуме табу. Вот как это сближение войны и праздника мотивирует Р. Кайуа. «Но вот наступает час боя или пляски, – пишет он, – и возникают иные, новые нормы, еще вчера считавшиеся запретными и гнусными жесты приносят ныне славу и престиж – главное, осуществлять их в рамках известного этикета и сопровождать ритуальными действиями, призванными их освещать или скрадывать, хотя на самом деле они совершаются в безудержной разнузданности яростных инстинктов» [Кайуа 2003: 280].

В конечном счете, решающую роль в войне сыграл не имперский дух, а та специфическая и имеющая место в редких случаях ситуация переживания единения, когда отдельный человек ощущает себя уже не одиноким, а продолжением, частью общей массы, что описано лишь в тех сочинениях, которые можно было бы назвать сочинениями по психологии массы (от Лебона до Московичи). Однако задолго до открытия и осмысления этого эффекта массы подобный феномен был описан еще в литературе. Причем, именно война как раз и предоставляла возможность испытывать это необычайное и выводящее из повседневности коллективное переживание, возвышающее человека и освобождающего его от страха. Вот как, например, у Ф. Достоевского описано это переживание, посещающее человека именно во время войны. Почему, собственно, война не только отталкивает человека, но и притягивает, поскольку предоставляет человеку возможность пережить то великое чувство, которое его

в обычной и мирной жизни не посещает. Война сближает сословия, она уничтожает иерархию, разрушает навязываемые человеку обществом социальные роли. То, что делает человека несвободным в мирное время, исчезает. Отступает болезненно переживаемое чувство социального неравенства. «Как ни освобождайте и какие не пишите законы, – говорит парадоксалист Ф. Достоевского, – неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство – война. Пальятивное, моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства – в жертве жизнью за общее дело, за всех, за отечество… Взаимный подвиг великодушия порождает самую твердую связь неравенств и сословий. Помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну: он слагает про войну песни, он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней… пролитая кровь важная вещь!» [Достоевский 1981: 126].

Очевидно, что вторая мировая война с ее беспрецедентной жестокостью выводила за пределы культуры и нравственности, выводила в доисторию, в варварство, можно сказать, в доосевое время. Казалось, что в ходе этой войны рушились все созданные в прошлые столетия ценности культуры, вообще культура как таковая. Об этом весьма необычно высказался Т. Адорно, вынужденный в годы войны эмигрировать из Германии в Америку. Он говорит: «Освенцим показал, что культура потерпела крах… После Освенцима любая культура… всего лишь мусор» [Адорно 2003: 327]. Очень многое свидетельствует о зверствах войны. Об этом достаточно написано. Вот как, например, это представлено в романе В. Астафьева «Прокляты и убиты». «Совершив преступление против разума, добра и братства, – читаем в тексте романа, – изможденные, сами себя доведшие до исступления и смертельной усталости, люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой, ими многажды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести напророченное человеку, всю его историю, из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие» [Астафьев 2011: 436].

Действительно, может показаться, что культура превратилась в мусор. Но так ли это? Можно ли этим высвобождением разрушительных инстинктов исчерпать весь смысл второй мировой войны? Можно ли утверждать, что культура для этой войны не имела значения, что и в самом деле свершался выход за пределы осевого времени в дикость? В том-то и дело, что, может быть, лишь война, создавшая своих мучеников и своих палачей, продемонстрировала активность того спасительного инстинкта, что пробуждается исключительно в экстремальных ситуациях. А такой ситуацией и является война. А вот этот спасительный инстинкт и есть инстинкт культуры. И именно этому инстинкту, а не отдельной харизматической личности или правящему меньшинству, мы обязаны победой.

Ответ на вопрос, что такое культура и какую миссию она в мире осуществляет, может дать лишь то колоссальное напряжение, которое возникает в ситуации, которую экзистенциалисты называют пограничной ситуацией, ситуацией на грани жизни и смерти. Вот культура как раз в ходе этой истребительной вакханалии и активизировалась, и сработала. Она ведь в принципе вообще предназначена для того, чтобы выживать и выходить из экстремальных ситуаций. С этого исключительного события в нашей истории, а совсем не с эпохи оттепели, как принято считать, по-настоящему и началось осознание культуры и ее реабилитация. Потому что вторая мировая война вызвала к жизни традиционный ментальный комплекс и похоронила смысл ориентированного на перманентное пересоздание социума проекта модерна.

И только потому все закончилось так, как закончилось. В этом случае этот наш тезис следует аргументировать.

Возникнув еще в XVIII веке и провозгласив идею прогресса, модерн оказался для культуры весьма неблагоприятным. Причем, как в западном, так и в русском варианте. В этом смысле русский вариант вообще предстает весьма крайним. Ведь представши в интерпретации Ленина, идеи модерна трансформировались в идеологию, в такую идеологию, которая оказалась необремененной гуманистическим потенциалом. Война высвечивает и обнажает накопившиеся в предвоенное время язвы. Здесь следует сказать еще об одном варианте в интерпретации войны, который тоже является возможным. Он связан с пониманием свободы не только как свободы государства, но и как свободы личности. Вообще исход войны способен обернуться не только глотком свободы. Он способен укреплять власть, в том числе власть диктаторов. Но он может означать и утрату власти.

Мы уже цитировали Гегеля по поводу того, что война не позволяет обществу загнивать, что случается в мирное время. Следовало бы это состояние свободы, возникающее в экзистенциальной ситуации, а именно на грани жизни и смерти, рассмотреть под углом зрения переоценки и переосмысления установок, которые в предвоенные десятилетия были определяющими. Конечно, идея личной свободы связывается с шестидесятниками и вообще с периодом оттепели. Но этот прогресс в достижении свободы подчас сводится исключительно к преодолению периода сталинизма, поскольку, как доказывал А. Солженицын, Сталин лишь продолжал реализовывать установки и ленинизма, и большевизма. Короче говоря, происходящие процессы осмыслялись исключительно как процессы для России внутренние. Но смысла этой войны они не исчерпывают. Ее смысл заключается не только в соприкосновении Запада с Востоком, но и в отталкивании Запада от Востока.

Но смысл этой войны в еще большей степени приоткрывается, если мы ее соотнесем с проектом модерна, перечеркивающим не только не соответствующие принципу разума политические структуры, но историю, традиции и, соответственно, культуру. По сути, вторая мировая война на этом проекте ставила крест. Спрашивается, а как же тогда быть с большевизмом? А просто: большевизм был частным вариантом этого проекта. Анализ негативных последствий модерна был дан еще в книге Т. Адорно и К. Хоркхаймера «Диалектика Просвещения». Но в этой книге отсутствует русская тема. А жаль, ведь вторая мировая война – значимая страница в истории реализации идеи модерна. Именно в России решалась ее будущая судьба. В чем была уязвимость проекта модерна, из которого вышли все революции и который стал могильщиком традиционных ценностей? В том, что в его основу была положена идея чистого разума, которому не соответствовали ни культура, ни религия. Но, как пишет Л. Толстой, «если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни» [Толстой 1963: 267]. Кажется, именно это чуть и не произошло.

Кстати сказать, на Западе это понимал современник авторов модерна XVIII века Гете, как и некоторые философы XIX века, для которых главным философским концептом оказался не разум, а жизнь. В эпоху модерна смысл культуры еще не был открыт. С этим нашим тезисом не все могут согласиться. Можно предвидеть вопрос: как же, разве идея культуры не возникла уже в эпоху Просвещения? Конечно, возникла, например, у Гердера. И не только. Но этот процесс происходил в сознании отдельных выдающихся людей. Но хотелось бы говорить не об идеях, высказываемых отдельными мыслителями, а об идеях, осознаваемых обществом в целом. Может быть, даже следует говорить не просто об идеях, а об осознании того, как культура бессознательно срабатывает в таких экстремальных и экзистенциальных ситуациях, когда не только отдельный человек, но целые народы могут и не выжить. Когда человек оказывается, как бы выразились экзистенциалисты, в пограничной ситуации. В ситуа-

ции, какой оказалась война и вообще, войны XX века, словно созданные для того. Чтобы продемонстрировать беспрецедентные акты массового истребления людей. Чтобы вывести человечество за границы того, что К. Ясперс назвал осевым временем. Чтобы вернуть человечество в состояние варварства, что прогнозировал в конце XIX века Ф. Ницше. Тем не менее, повторим еще раз: с Т. Адорно трудно согласиться. Культура – не мусор. Да, последующее развертывание истории показывает, что власть, кажется, и сохранилась, и укрепилась. Это подтверждает уже цитируемый нами тезис Гегеля по поводу того, что удачные войны не дают развиться внутренним смутам и укрепляют государственную власть.

Д. Робертс констатирует, что война укрепила власть Сталина. Это могло иметь разные последствия – или дальнейшее ущемление свободы или, наоборот, свободу [Робертс 2014: 463]. Еще в 1944 году В. Вишневский прогнозировал после окончания войны большую свободу. «Когда война закончится, – писал он, – жизнь будет очень приятной. В результате нашего опыта появится великая литература. Будет активное движение и много контактов с Западом. Каждому будет разрешено читать, что ему хочется. Будет обмен студентами, поездки за рубеж для советских граждан будут упрощены» [Робертс 2014: 463].

Некоторые усматривали развертывающееся потепление непосредственно уже в годы войны. Так, например, один из американских журналистов М. Хиндус, побывав в Куйбышеве, опубликовал в «Нью-Йорк Херальд Трибьюн» статью (17 июля 1942 года), в которой констатировал, что в СССР за 6 лет, пока он не был в Москве, уже произошли колоссальные изменения, а именно, стали заметными ценности частной жизни. После первого посещения СССР он написал книгу о советской России «Искоренение гуманизма». Но новое посещение СССР, как он утверждал, дает основание писать книгу под названием «Укоренение гуманизма». В частности, журналист в качестве подтверждения изменений описал свои впечатления от спектакля «Анна Каренина». Как он утверждает, еще недавно публика смеялась над чувствами и терзаниями героев, ибо была убеждена, что при советской власти такие страсти больше никого не волнуют. Сегодня, как уверял журналист, все изменилось. Русские начинают себя чувствовать как герои толстовского и тургеневского романов. Это свидетельствует о повороте к новому восприятию частной жизни и новому индивидуализму [Сталинград 2013: 57].

Впрочем, зафиксированные изменения не были для русских совершенно новыми. Они явились продолжением тех процессов, которые имели место после окончания гражданской войны и в особенности в 30-е годы. Так, например, еще В. Мейерхольд постановкой в 1934 году драмы Дюма-сына «Дама с камелиями» удивлял отходом от аскетизма и новым гедонистическим пафосом. Спектакль привлекал вниманием к красоте повседневной жизни, что подчеркивалось костюмами персонажей, обстановкой действия, подбором мебели, обилием цветов на сцене и вообще сопереживанием простым и естественным чувствам людей [Юзовский 1934].

Конечно, сразу же после войны власть снова стремилась ущемить свободы. Как известно, было принято ряд крутых мер, в том числе, против искусства. Тем не менее, последующая история – это не укрепление, а ослабление власти, которая ближе к концу XX века и вовсе распалась. Вот как, например, изображается это время, время оттепели в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание» [Пастернак 1989: 503].

Конечно, после войны свободы все же оказалось не так много. Победа в войне внешней вовсе не была победой внутренней. Присваивая себе достигнутую народом победу, Сталин продолжал закручивать гайки. Видимо, диктатор не исключал и войну следующую. Импер-

ская идея оказывалась в силе. После передышки имперская армия могла быть востребованной снова. Поэтому гуманизация государства не предполагалась. Начались гонения на интеллигенцию. В 1946 году А. Ахматову и М. Зощенко исключили из Союза писателей. «Мне казалось, – пишет И. Эренбург, – что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться, а все напоминало прежнее – собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли «соучастников», каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами: обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л.И. Тимофеева и Садофьева, Межирова и А. Гладкова» [Эренбург 1990: 34].

Чтобы подавить Запад, необходимо было спровоцировать против него ненависть. Но необходимо было и укрощать, обуздать и ту вырвавшуюся во время войны свободу, которая могла проявиться в послевоенное время. Но она проявилась. Люди, выражая свое недовольство, писали письма в государственные инстанции. Вот одно из суждений, извлеченное из такого письма 1946 года. «Ну, вот и дожили. Это называется забота о материальных нуждах трудящихся в четвертую сталинскую пятилетку. Теперь понятно нам, почему по этому вопросу собрания не проводят. Бунты будут, восстания, и рабочие скажут: «За что воевали?» [Молодчик 2007: 146]. Так начиналась кампания против космополитов, преследующая обуздание тех, кто, пройдя войну, уже не опасался выразить свое недовольство.

Тем не менее, война все же дала возможность не только осознать реальность, но и высказываться о ней, о чем и свидетельствуют романы В. Гроссмана и В. Астафьева. А, следовательно, последующих процессов истории – оттепели, перестройки и демократизации во второй половине XX века без того, что произошло во второй мировой войне, произойти бы не могло. Революция и гражданская война, связанные с реализацией проекта модерна, заслонили традицию романтизма в культуре России. Между тем, она была не менее сильной, чем традиция модерна. И, кстати сказать, она была предельно активной в эпоху Серебряного века. Можно даже утверждать, что в начале XX века славянофильская идея переживала своеобразный Ренессанс. Период ленинской политики исключал ее продолжение и развитие. Новый политический курс изымал народы из привычной культурной и национальной среды и формировал утопическое, оторванное от культурной почвы мировосприятие. Это, конечно, не могло продолжаться долго.

Возникшая во время второй мировой войны экстремальная ситуация освободила человека от утопии, поставив перед реальностью. Чтобы это осознать, человек должен был оказаться на пороге смерти. Это отрезвление как раз и произошло в ходе войны. Несмотря на то, что в ходе сражений в критические мгновения солдаты произносили имя вождя, именно в этой ситуации магия его имени покидает сознание людей. Так, в ситуации войны русский человек выходит из утопии и открывает реальность. Но чтобы этот сдвиг получил осмысление не только в сознании отдельных людей, но и во всем обществе, должно было пройти значительное время. Этим временем стала вся вторая половина XX века. Процесс осознания охватил и науку, прежде всего, гуманитарную.

Противостояние модерна и романтизма оказалось реальным и для второй половины XX века. Ведь из этой новой вспышки романтизма, что имела место в эпоху оттепели, когда был отрефлексирован ментальный сдвиг, происшедший в годы войны, возникает целая новая наука – наука о культуре. Она призвана объяснить то, что не смогла объяснить возникшая в XIX веке, когда модерн трансформировался в индустриальную цивилизацию, социология. Преодоление хаоса, связанного с распадом традиционной культуры и традиционного общества, вовсе не исчерпывается возникновением и утверждением общественных и государственных институтов, функционирующих в соответствии с разумом. А именно функциони-

рованием таких институтов и занималась социология. Такие институты, как оказывается, способны не только исходить из реальности человеческого бытия, но и отрывать от него.

Но первичная изначальная реальность человеческого бытия связана, прежде всего, с культурой. Модерн разрушал культуру, отрывал человека от культуры и поселял его в утопический мир. Он нанес культуре непоправимый ущерб. Новая наука о культуре возникает, чтобы понять ситуацию, в которой культура оказалась в XX веке. Ведь человек, извлеченный из культуры и жертвующий культурой, обречен на бюрократию. Бюрократия возникает как следствие утраты культуры, блокирования ее действия. Но дело не только в бюрократии. Когда происходит тотальное разрушение культуры, как раз и возникают тоталитарные государства как реальности уже не утопии, а антиутопии. Возвращая культуру, пытаясь осознать ее жизнестроительные функции уже в постиндустриальном обществе, необходимо помнить о ее значимости и ее спасительной миссии. Об этом заставляют задуматься лишь такие экстремальные события в жизни народов, как война. Сначала как первая мировая, а затем и вторая мировая война приблизили человечество к пониманию смысла культуры. То, что произошло в ходе войны, постепенно трансформировалось в политические реформы.

Таким образом, наше настоящее и наши перспективы по-прежнему связаны с войной. Не в том смысле, что нас ждут новые войны и новые открытия, а в том, что мы по-прежнему продолжаем осознавать то, что проявилось в ходе войны. Осознавать и пытаться реализовать в жизни. Поэтому не в период оттепели начались реабилитационные процессы культуры. Их истоком явилась именно война. Реабилитация и истории, и церкви для возрождения культуры уже являются весьма показательными. Исток этого – возникшая в годы войны экзистенциальная пограничная ситуация. Собственно, проект модерна рано или поздно должен был рухнуть. Поэтому ближе к концу XX века появляется все больше критики модерна. Когда А. Солженицын получал в 1974 году премию от Союза итальянских журналистов, он по поводу смысла и последствий модерна (не называя, правда, фиксируемый нами процесс терминологий Ю. Хабермаса) говорил следующее: «Мы – все мы, все цивилизованное человечество, – посаженные на одну и ту же жестко связанную карусель, совершили долгий орбитальный путь. Как детишкам на карусельных конях, он казался нам нескончаемым – и все вперед, все вперед, нисколько не в бок, не вкривь. Это орбитальный путь был: Возрождение – Реформация – Просвещение – физические кровопролитные революции – демократические общества – социалистические попытки. Этот путь не мог не совершиться, коль скоро Средние века когда-то не удержали человечество, оттого, что построение Царства Божия на земле внедрялось насильственно, с отобранием существенных прав личности в пользу Целого. Нас тянули, гнали в Дух – насилием , и мы рванули, нырнули в материю, тоже неограниченно. Так началась долгая эпоха гуманистического индивидуализма, так начала строиться цивилизация на принципе: человек – мера всех вещей, а человек превыше всего. Весь этот неизбежный путь весьма обогатил опыт человечества, но вот на наших глазах и он подошел к исчерпанию: ошибки в основных положениях, не оцененные в начале пути, ныне мстят за себя. Поставив высшею мерой всех вещей человека, со всеми его недостатками и жадностью, отдавшись материи неумеренно, несдержанно, – мы пришли к засорению, к изобилию мусора, мы тонем в земном мусоре, этот мусор заполняет, забивает все сферы нашего бытия» [Солженицын 1995: 196].

Следующее высказывание в еще большей степени проясняет мысль А. Солженицына. «Гремливая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытащила наши души на базар – партийный или коммерческий. В сфере социальной наш многовековый путь привел нас в одних случаях на край анархии, в других – к стабильной деспотии. Между этими двумя грозными исходами на наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства – оттого что малые и большие со-

единения людей не желают самоограничиваться в пользу Целого. Это понимание, что должно же быть нечто Целое, Высшее, где-то разроненное нами, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности, – это понимание чутко сторожится современными жестокими тираниями и вовремя выставляется под названием социализма. Но это обман вывески, неисследованность термина: полстолетия достаточно показали, что и там мы массами унавоживаем благоденствие малых групп людей – и притом самых ничтожных, мусорных» [Солженицын 1995: 197]. И еще: «Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних веков к Новому времени – если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота» [Солженицын 1995: 198].

Но, собственно, то, что говорит А. Солженицын, было уже сказано Т. Адорно и К. Хоркхаймером в их книге, вышедшей сразу же после войны, в 1947 году. В ней философы попытались показать, что Просвещение не только никого не просветило [Хабермас 2023: 313], но привело к разрушительным последствиям. По сути, культивируя разум, модерн вызвал к жизни и тоталитарные общества, и варварство в его современных формах, что и проявилось во время войны. Вместо того, чтобы облагородить человечество, модерн привел к тому, что многие народы были поставлены на грань жизни и смерти. Поэтому Т. Адорно и К. Хоркхаймер и приходят к выводу о том, что «Просвещению надлежит осознать самое себя, чтобы человек не оказался окончательно преданным» [Хоркхаймер, Адорно1997: 12]. Вот это исчерпание веры в чистый разум, не опирающийся на культуру в эпоху модерна, развертывается на протяжении всего XX века, что объясняет катастрофизм этой эпохи. Война оказалась значимым событием в угасании того этапа истории, когда культура была загнана в подсознание. Она не была открыта и осознана. Тем не менее, в момент экстремальный, экзистенциальный она сработала. С тех пор она набирала силу и, достигнув сознания, стала предметом специальной науки. Вот почему нам, культурологам, следует возвращаться к этому событию и осмыслять его под углом зрения культуры и содержащегося в ней потенциала выживания человека и человечества.

Адорно Т. 2003. *Негативная диалектика*. – М.

Андреев Д. 1991. *Роза мира. Метафилософия истории*. – М.

Астафьев В. 2016. *Прокляты и убиты*. – М.

Арон Р. 1993. *Этапы развития социологической мысли*. – М.

Ахиезер А. 1997. *Россия: критика исторического опыт. Т. 1. От прошлого к будущему*. – Новосибирск.

Бакунин М. 1989. *Философия. Социология. Политика*. – М.

Бердяев Н. 1925. Христианство и социализм. – *Сборник статей, посвященных П.Б. Струве ко дню 35-летия его научно – публицистической деятельности*. – Прага.

Бердяев Н. 1990. *Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности*. – М.

Бердяев Н. 1990. *Истоки и смысл русского коммунизма*. – М.

Богданов К. 2009. *Vox popoli . Фольклорные жанры советской культуры*. – М.

Вадим Кожинов… 2005. *Вадим Кожинов в интервью, беседах, диалогах и воспоминаниях современников*. – М.

Вебер А. 1999. *Избранное : Кризис европейской культуры*. – СПб.

Вернадский Г. 2004. Начертание русской истории. – М.

Вернадский Г. 1994. Два похода святого Александра Невского. – *Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья*. Т. 2. – М.

Гачев Г. 1995. *Национальные образы мира. КосмоПсихоЛогос*. – М.

Гегель Г. 1934. *Сочинения. Т. VII. Философия права*. – М.-Л.

Гегель Г. 1993. *Лекции по философии истории*. – СПб.

Гегель Г. 1934. *Философия права. Философия права*. – М.-Л.

Гиппиус З. 1991. *Живые лица. Стихи. Дневники*. – Тбилиси.

Гроссман В. 1988. *Жизнь и судьба*. – М.

Гумилев Л. 1992. *Древняя Русь и Великая степь*. – М.

Данилевский Н. 1991. *Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому*. – М.

Джонсон Ч. 2008. *Немезида. Последние дни американской республики*. – М.

XIV съезд… 1926. *XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет*. – М.-Л.

Дживелегов А. 1915. *Немецкая культура и война*. – М.

Достоевский Ф. 1981. *Полное собрание сочинений. Т. 22*. – Л.

Евтушенко Е. 1984. *Собр. Соч. в 3-х т. Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1965–1972*. – М.

Ильин И. 1992. *Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. В 2-х т. Т. 1*. – М.

Кайуа Р. 2003. *Миф и человек. Человек и сакральное*. – М.

Козлов В., Плимак Е. 1990. Концепция советского термидора. – *Знамя*. – № 7.

Леонтьев К. 1885. *Восток, Россия и славянство. Т. 1*. – М.

Ленин В. 1970. *Полное собрание сочинений. Т. 43*. – М.: Издательство политической литературы.

Лосев А. 1978. *Эстетика Возрождения*. – М.

Макиавелли Н. 1996. *Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве*. – М.

Манхейм К. 1994. *Диагноз нашего времени*. – М.

Мертон Р. 2006. *Социальная теория и социальная структура*. – М.

Мережковский Д. 1995. *Лев Толстой и Достоевский. Вечные спутники*. – М.

Моносов С. 1927. О термидоре. – *Революция и культура*. – № 2.

Московичи С. 1996. *Век толп. Исторический трактат по психологии масс*. – М.

Моссе Д. 2010. *Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма*. – М.

Мэдден Т. 2010. *Империя доверия. Как Рим строит новый мир. Как Америка строит новый мир*. – М.

Молодчик А. 2007. Война после войны. Социальные вопросы государственной политики в условиях послевоенного восстановления экономики. – *Опыт мировых войн в истории России*. – Челябинск.

Ницше Ф. 1990. *Сочинения в 2-х т. Т. 2*. – М.

Невежин В. 2003. *Застольные речи Сталина*. – М.-СПб.

Ортега-и-Гассет Х. 1997. *Избранные труды*. – М.

Пастернак Б. 1989. *Доктор Живаго*. – М.

Робертс Д. 2014. *Иосиф Сталин. От Второй мировой до «холодной войны»*. – М.

Розанов В. 1910. *Когда начальство ушло*. – СПб.

Розанов В. 2008. *В чаду войны. Статьи и очерки. 1916–1918*. – М.-СПб.

Смена вех… 1921. *Смена вех*. – Париж. – № 9.

Симонов К. 1990. *Глазами человека моего поколения*. – М.

Соловьев В. 1989. Византия и Россия. – Соловьев В. *Сочинения. В 2-х т*. Т. 2. – М.

Сталин И. 1952. *Сочинения. Т. 2*. – М.

Солженицын А. 1995. *Публицистика. В 3-х т. Т. 1. Статьи и речи.* – Ярославль.

Сталинград… 2013. *Сталинград. Величайший провал Гитлера. 1942–1943. Сталинградская битва глазами американских и британских журналистов*. – М.

Тернер В. 1983. *Символ и ритуал*. – М.

Тиме Г. 2010. Закат Европы как центральная мысль русской философии. Полемика о Шпенглере в России начала 1920-х годов. – *Россия и Германия в XX веке. Т. 2. Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы*. – М.

Троцкий Л. 1990. *Сталин. В 2-х т. Т. 1*. – М.

Толстой Л. 1963. *Собрание сочинений в 10 т. Т. 7*. – М.

Тойнби А. 2003. *Цивилизация перед судом истории*. – М.

Устрялов Н. 1925. *Под знаком революции*. – Харбин.

Упадочное настроение… 1927. *Упадочное настроение среди молодежи. Есенинщина*. – М.

Фейхтвангер Л. 1937. *Москва. 1937*. – М.

Федотов Г. 1992. *Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 2*. – СПб.

Фромм Э. 1994. *Анатомия человеческой деструктивности*. – М.

Фихте И. 2008. *Речи к немецкой нации (1808)*. – М.

Флоровский Г. 1991. *Пути русского богословия*. – Киев.

Хренов Н. 2012. Идеи Л.Н. Гумилева на фоне ориенталистского дискурса. – *Наследие Л.Н. Гумилева и судьба народов Евразии: история, современность, перспективы*. – СПб.

Хабермас Ю. 2003. *Философский дискурс о модерне*. – М.

Хоркхаймер М., Адорно Т. 1997. *Диалектика Просвещения*. – М.-СПб.

Чумаченко Т. 2007. Власть и русская православная церковь: отношения, рожденные войной (К вопросу о причинах возрождения государственно-церковных отношений и пределах их эволюции. – *Опыт мировых войн в истории России*. – Челябинск.

Шеллинг Ф. 2013. *Философия мифологии. Т. 2. Монотеизм. Философия*. – СПб.

Шубарт В. 1997. *Европа и душа Востока*. – М.

Эриксон Э. 1996. *Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование*. – М.

Эрн В. 1991. Время славянофильствует. – Эрн В. *Сочинения*. – М.

Эренбург И. 1990. *Люди. Годы. Жизнь. Воспоминания в 3-х т. Т. 3*. – М.

Юзовский Ю. 1934. О «Даме с камелиями» и красоте жизни. – *Литературный критик*. – № 6.

Янов А. 1990. Русская идея и 2000 год. – *Нева*. – № 11.